

Греки и варвары

Дж. А. К. Томсон

GREEKS AND BARBARIANS

J. A. K. THOMSON

Электронная книга проекта Гутенберга о греках и варварах

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Греки и варвары

Автор: Дж. А. К. Томсон

Дата выхода: 22 октября 2017 г. [Электронная книга № 55792]

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

Титры: Подготовлено Тургутот Динсером и командой корректоров, распространяющей тексты онлайн на <http://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом)

*** ЗАПУСК ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ГРЕКИ И ВАРВАРЫ" ***

Ссылки на примечания в конце книги добавлены в файлы html, epub и mobi для удобства использования.

ГРЕКИ И ВАРВАРЫ

ТОГО ЖЕ АВТОРА

ГРЕЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ

La. Cr. 8vo. 6/- нетто.

Выдержки из отзывов.

“Книга будет прочитана с пользой и искренним интересом каждым, кто желает понять жизнь Древней Греции”. —*Шотландец*.

“Мистер Томсон — классик, который может формировать свои собственные теории и поддерживать их”. —*Times*.

“Он такой проводник, который делает литературу живым делом”. —*Sunday Times*.

“Эти восхитительные эссе”. —*Морнинг Пост*.

“Сами эссе свежи и стимулируют ... это увлекательный эксперимент по реконструкции.... Именно литературный метод мистера Томсона привлекает нас ... по сути, здравым”. —*Inquirer*.

“Стоит прочитать”. —*Нью Эдж*.

“Примечателен не только глубоким знанием автора греческой литературы и искусства, но и широким кругозором и широтой знаний. Книга в целом представляет собой тонкую научную работу, освещенную силой воображения, а также реальным пониманием греческой мысли и идеалов”. —*Земля и вода*.

“Мистер Томсон, бесспорно, является ценным помощником в изучении классики, и те, кто читал его, не могут не перечитать Гесиода, Фукидида и ”Алкестиду” Еврипида в новом и более полном свете”. —*Журнал образования*.

“Вот ученый с ярким и энергичным лицом. Эссе мистера Томсона имеют привкус хорошей литературы. Они уловили что—то от света древнего мира шедевров, которым они интересуются”. —*Daily News*.

“Он писал с большим шармом Мистер Томсон обладает активным, но контролируемым воображением, зрелой ученостью, пронизательными суждениями, приятным литературным стилем и сочувственной пронизательностью. Невозможно передать очарование этих статей, каждая — маленькое произведение искусства, которое нужно читать как единое целое”. —*Outlook*.

“Его работы в высшей степени заставляют задуматься и ценны ... каждый, кто интересуется классической литературой, должен прочитать ее”. —*Школьный учитель*.

ГРЕКИ И ВАРВАРЫ

Дж . А. К. ТОМСОН



ЛОНДОН: GEORGE ALLEN & UNWIN LTD.
ДОМ РАСКИНА, МУЗЕУМ-СТРИТ, 40, WC1
НЬЮ-ЙОРК: КОМПАНИЯ MACMILLAN

Впервые опубликовано в 1921 году

(Все права защищены)

Stets wird geschieden sein der Menschheit Heer

In zwei Partein: Barbaren und Hellenen.

Heine, "Für die Mouche."

МОЕЙ МАТЕРИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Существовало множество объяснений древней Греции и ее особого духа. Если можно так выразиться, единственное оригинальное в объяснении, предлагаемом в этой книге, - это отсутствие оригинальности, поскольку это объяснение самих греков. Они верили, что эллинизм зародился в результате конфликта между греками и варварами. Как выразился Фукидид (I. 3), "грек" и "варвар" являются соотносительными терминами; и Геродот написал свою великую книгу "в поисках", как он говорит, "отступлений от поставленной цели", чтобы проиллюстрировать именно это. В таком объяснении, очевидно, вообще нет ничего поразительного. Оно действительно (на первый взгляд) настолько бесцветное и негативное, что, должно быть, неудовлетворенность им спровоцировала все остальные объяснения. Ученые, должно быть, сказали себе: "Какой смысл повторять, что эллинизм противоположен варварству? Мы это уже знаем". Но они знали это только формально или абстрактно. Лишь на днях ученые-классики начали изучать варвара и *выявлять* контраст, который один может дать нам материал для глубокого понимания самого грека. Без этого изучения представления человека о греческом языке не могли бы не быть несколько пустыми и бесцветными. Но любой, кто потрудится прочесть даже те скудные наброски, которые дают эти очерки, вряд ли будет жаловаться на недостаток красок.

Тема действительно настолько обширна, что приходится быть избирательным и иллюстративным. Даже сделать это далеко не просто. Например, кажется странным писать о значении эллинизма без главы о греческом искусстве. Такая глава, однако, исключена замыслом этой книги, которая должна обходиться без иллюстраций; в то время как при работе с литературой я всегда мог бы донести свою мысль простыми цитатами. С другой стороны, может показаться немного старомодным и произвольным, что я ограничиваюсь столетиями, предшествовавшими Александру. Но, в конце концов, именно в эти столетия эллинизм обрел свою наиболее характерную форму — и в любом случае человек должен где-то остановиться.

В наши дни мы, любители Греции, очень часто встаем на нашу защиту, и, без сомнения, иногда мы требуем от нее слишком многого. Она грешила глубоко и часто, а иногда и против света. Вещи неисчислимой ценности дошли до нас не от нее. Наверное, не было такого времени, когда ей не было чему поучиться у варваров о себе — из Персии, из Палестины, из далекого Китая. Но, в конце концов, мы обязаны Греции тем, что думаем так, как мы думаем, а не как семиты или монголы. Я считаю, что в целом наш образ мышления предпочтительнее. Во всяком

случае, в целом они одержали верх. И мы, изучающие Грецию, утверждаем, что она вела нашу битву; что в самом глубоком, истинном и строго историческом смысле будущее того, чем мы дорожим больше всего, было связано с ее судьбой. Как же тогда мы могли не посочувствовать ей? Я пытался быть справедливым; я не мог быть бесстрастным.

Содержание

СТРАНИЦА

ПРЕДИСЛОВИЕ	9
ПРОБУЖДЕНИЕ	13
СОХРАНЕНИЕ ПЕРЕВАЛА	32
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ	45
ЭЛЕУТЕРИЯ	82
СОФРОСИНЯ	105
БОГИ И ТИТАНЫ	122
КЛАССИКА И РОМАНТИКА	147
ПРИМЕЧАНИЯ	205
УКАЗАТЕЛЬ	213

ГРЕКИ И ВАРВАРЫ

Я

ПРОБУЖДЕНИЕ

Это началось в Ионии. Возможно, на самом деле это было пробуждение. Но если это было так (а это вполне вероятно), то это было после столь долгого и глубокого сна, что почти не вспоминались даже сны. Ионийцы обычно говорили, что они помнят, как пришли из Греции давным—давно, примерно за тысячу лет до Рождества Христова, — как мы это считаем, - изгнанные со своего древнего дома на Пелопоннесском побережье Коринфского залива "дорийцами" с Севера. Они бежали в Афины, которые перевезли их на своих кораблях через Эгейское море в ту среднюю часть восточного побережья, которая стала известна как Иония. По этой причине в исторические времена они считались (по крайней мере, афинянами) "афинскими колонистами". Никто в древности, по-видимому, всерьез не оспаривал этот рассказ об ионийцах. Возможно, в этом есть доля правды; а если нет, то ионийцы были довольно хороши в диспутах. Афиняне принадлежали к этой расе. Но если вы продолжите расспрашивать ионийцев и спросите их об их происхождении в доисторической Греции, вам

придется довольствоваться банальным ответом, что первые (Примечание 14)ионийцы выросли из земли. Они были *автохтонами*, Детьми Земли. КритикФукидид формулирует это так: он говорит, что один и тот же народ *всегда* населял Аттику. Люди его времени могли вспомнить, когда старые афинские джентльмены носили волосы, собранные в узел на макушке, скрепленный золотой булавкой в виде цикалы, потому что цикала тоже Дитя Земли.

Конечно, в исторические времена ионийцы были греками. Но, возможно, они не всегда были греками. Геродот, очевидно, считает, что они ими не были. Он говорит, что они научились говорить по-гречески у своих дорийских завоевателей. Естественным выводом из этого было бы то, что они принадлежали к другой расе. Геродот, однако, почти так же любит гипотезы, как и мистер Шэнди, и вполне возможно, что он здесь выдвигает аргумент (который, в свою очередь, мог быть просто дорийской пропагандой), что единственными чистокровными эллинами были дорийские племена, которые, по общему признанию, появились на сцене намного позже ионийцев. На самом деле ионийцы, возможно, были просто более ранней волной великого нашествия грекоязычных, которое закончилось с приходом дорийцев. Мы не знаем, и Геродот не знал. Сами ионийцы этого не знали. Есть две возможности. Либо они были коренным народом, который стал эллинизированным (как предполагает Геродот), либо они были народом эллинского происхождения, который надолго поселился в Греции среди еще более раннего населения. Что из этого? Только то, что мы внезапно многое узнали об этом доисторическом населении Эгейского моря, прежде всего о том, что оно развило цивилизацию, которая кажется слишком блестящей, чтобы быть правдой. Теперь, если (Примечание 15)беглецы, сбежавшие в Ионию, были фрагментом этой расы или даже инопланетянами, которые впитали лишь часть ее культуры, пробуждение, наступившее так много времени спустя, могло на самом деле быть повторным пробуждением.

Археологи, проводя раскопки на месте старых ионических городов, обнаружили свидетельства того, что первые поселенцы обладали чем-то от эгейской культуры. Венцом и центром этой культуры был остров Крит, и существовали какие-то смутные предания о том, что критяне высадились в Ионии; только тогда она, вероятно, не называлась Ионией. Это и некоторые другие соображения натолкнули на предположение, что ионийцы действительно пришли с Крита. Но, по-видимому, более соответствует имеющимся свидетельствам предположение, что основная их масса прибыла из собственно Греции, где они усвоили "микенскую" культуру, которая была даром Крита. Злополучные дорийцы разрушили это замечательное наследие, но, по крайней мере, на какое-то время поселенцы в своем новом "ионическом" доме будут помнить, как правильно готовить горшок и повторять свои традиционные блюда. Затем, казалось бы, они все почти забыли; неудивительно, если учесть, насколько тяжелым было их положение. И все же даже в том тревожном сне, в который они впали от вернувшегося варварства, ионийцы что-то вспомнили, как во сне; и это стало самым прекрасным сном в мире, потому что это Гомер.

Теперь обратимся к истории. История Ионии - это драма, в которой мало того, что впоследствии произошло на более широкой сцене Греции.

Поселенцы нашли прекрасную землю с (как восклицает не только Геродот) "лучшим климатом в мире". Значительные реки, склонные к "извилистости", прорезают длинные долины в холмистых внутренних районах (Примечание 16)Малой Азии и предлагают в своих устьях безопасные якорные стоянки для игрушечных корабликов древних. Это типичная страна

Эгейского моря, и поселенцам она не показалась бы незнакомой. Естественно, они не нашли новую землю пустой. В нем проживало коренное население, которое называлось или стало называться общим названием “карийцы” — воины-варвары в огромных шлемах, увенчанных огромными гребнями из конского волоса, и вооруженные кинжалами и уродливо выглядящими фальчионами, похожими на жатвенные крюки. Пришельцы сражались с ними, в основном убивали среди них, заключали с ними какое-то неопределенное перемирие, женились на их женщинах, заручились их заинтересованной помощью против перса, когда он стал могущественным. Но это было все. Им так и не удалось сделать их по-настоящему греческими или полностью цивилизованными. Они только подстерегали их на своих холмах и, если ловили кого-нибудь, делали из него раба. На протяжении всей греческой истории карийцы сохраняли фактическую независимость в высокогорьях Ионии, сохраняя свою древнюю речь и обычаи, лелея память о славе своего старого света, когда они гребли на кораблях критского царя Миноса и сражались в его битвах, и не проявляя никакого интереса к чудесным городам, выросшим почти или совсем рядом с их уединенными гнездами. Это кажется очень странным. И все же это типично. Если мы подумаем о греческой цивилизации как о чуде, сотворенном в узкой долине, где ее ненавидели угрюмые карийцы с окружающих холмов, мы получим неплохую картину — ибо я не буду называть это аллегорией — реальной ситуации на протяжении всей античности до прихода Александра. Варвар все время был так близко.

Ионийцам всегда приходилось бороться с вытеснением в море более или менее диких (Примечание 17) народов Анатолии. Этот обширный регион всегда был полон странных и малоизвестных рас и фрагментов рас. Он так устроен, что мигрирующие народы, наводняющие его, были уверены, что потеряют боковые течения в его глубоких, вводящих в заблуждение долинах и застынут там. Должно быть, когда была основана Иония, она имела особенно мрачный и угрожающий вид. Могущественная империя хеттов пала и оставила, насколько мы можем видеть, беспорядочное скопление дезорганизованного населения между морем и ужасными ассирийцами. Тут и там, без сомнения, были заметны следы хеттской цивилизации, скульптуры бога в крестьянской одежде - своего рода бога—мужика - или той вечной троицы Божественных Отца, Сына и Матери. Изумленные греки увидели в Сипилосе огромную скалу, выполненную в виде плачущей женщины, и назвали ее Ниобой. Похоже, они восхитились карийскими доспехами и позаимствовали их. Вероятно, больше они ничего не могли позаимствовать у карийцев, кроме их земель. Дальше вглубь страны жил многочисленный народ, называемый лидийцами, у которых уже тогда, должно быть, была какая-то зачаточная цивилизация, и которые впоследствии, впитав все, что могли, из ионийской культуры, угрожали городам рабством. Дальше по побережью, в юго-западной части полуострова, где несколько позже поселились дорийцы, жили ликийцы, у которых была такая цивилизация, которая ведет свое происхождение по материнской линии и хоронит умерших в норах скалы, как морские птицы откладывают яйца. Северная часть побережья Эгейского моря была занята мизийцами, фригийцами и родственными расами, которые так и не смогли освоить культуру. Они поклонялись таким богам, как Παῖος, что означает "Папа", и Βαγαῖος, что, должно быть, то же самое, что "Бог", что по-русски означает "Бог".

(Примечание 18)

Именно в такой мир были брошены беглецы. Возможно, это имело меньшее значение, потому что их настоящим домом было море. Но даже море давало им лишь временное спасение от варвара. Где бы они ни высаживались, они снова встречали его на берегу. Представьте, если

хотите, торговый корабль из главной ионической гавани Милета. Представьте, что она направляется к юго-восточному побережью Черного моря за грузом серебра. Она будет выбирать свой путь вдоль побережья и островов, пока не достигнет Дарданелл. С этого момента она оказалась в недружелюбных водах. С одной стороны были холмы Галлиполи (Ачи Баба и остальные — мы не знаем их древних названий), населенные “фракийцами” из рода, называемого Долонкои; с другой стороны была страна родственников им “фригийцев”. Вероятно, это было нелегко, поскольку греческий корабль был выброшен на любой берег. Оттуда через Мраморное море и Босфор в Эвксинский пролив. Затем последовали дни и ночи следования вдоль длинного азиатского побережья, уклонения от приливов у мысов, поиска источников пресной воды, известных мастерам постарше, забирания ночью в какую-нибудь укрытую скалами бухту, ночевки на пляже на подстилках из собранных листьев. И вот, наконец, в какую-нибудь гавань “колхидцев”, мужчин, цвет лица и волосы которых заставили бы вас поклясться, что это египтяне, обрезанных мужчин, резко контрастирующих со своими соседями фазианами, живущими в туманной долине романтического Фазиса, — крупных, толстых, сонного вида мужчин, дряблых мужчин с одутловатыми лицами, которые выращивают лен на болотистых лугах своего ленивого ручья. От этих частично цивилизованных народов греки могли бы почерпнуть новости о горных племенах внутренних районов, жутких “халибах”, которые знают, где найти железо и серебро в недрах охраняемых ими холмов, и о крайних дикарях Кавказа, единственное искусство которых состоит в нанесении красками фигур зверей на их одежду, и которые, подобно зверям, не стыдятся любви.

Или предположим, что наш корабль направляется в регион, где выращивают кукурузу, за современным портом Одесса на Юге России. Пройдя Босфор, она направится вдоль берега обширной и зимней территории, населенной рыжеволосыми, голубоглазыми фракийцами, расой, родственной некоторым элементам населения самой Греции, воинственной, музыкальной, эмоциональной, мистической, жестокой. То тут, то там торговец высаживался за водой или свежим мясом — в Салмидессосе, в Аполлонии, в Месембрии, в Одессе, в Томи (но мы не знаем, когда эти места получили свои названия) — пока не достигал устья Дуная. Где бы он ни побывал, у него могла быть возможность услышать о диких расах дальше вглубь материка, таких как гетаи, очень благородные дикари, которые верили в бессмертие людей или, по крайней мере, гетаев. Они придерживались мнения, что когда один из них покидал эту жизнь, он “отправлялся в Салмоксис”. Салмоксис, он жил в подземном доме и был их богом. Каждые четыре года они посылали к нему гонца, чтобы сообщить, чего они хотят. Их метод был таков. Сначала они сказали посланнику, о чем он должен спросить, а затем подбросили его в воздух, поймав, когда он падал, на острия их копий. Если он умирал, это означало благоприятный ответ Салмоксиса. Но если посланник не умирал, тогда они обвиняли посланника и “отправляли” другого. Также они пускали стрелы в солнце и луну, ([Примечание 20](#))бросая вызов этим светилам и отрицая их божественность. Они были “самыми праведными из фракийцев”, согласно Геродоту, который выражает и, возможно, разделяет мнение, по крайней мере столь же древнее, как Гомер, которое приписывало исключительную добродетель отдаленным и простым народам, таким как гиперборейцы и эфиопы, а также “поедателям кумыса”, гиппемолгоям или глактофагам. Если гетаи были самыми праведными из фракийцев, то возникает вопрос, какими были остальные. Они, безусловно, были способны почти на все в моменты религиозного исступления. Они рвали зубами сырую плоть, иногда (поговаривали шепотом) живую плоть детей. В определенное время года фракийские женщины сходили с ума на полуночных холмах, поклоняясь Дионису. (Дикое величие этой сцены сияет и дрожит,

как один из их собственных факелов, в "Вакханках" Еврипида.) Прибрежные фракийцы имели дурную репутацию вредителей....

За Дунаем находилась "Скифия". Весь этот район между рекой и Крымом с древнейших времен, о которых мы знаем, был тем, чем он является сегодня, - страной, выращивающей зерно. Его столицей был "Рынок борисфенитов", который предпочитал называть себя Ольвией, "Городом Эльдорадо". Здесь торговец мог встретить любопытное население, очень красивого вида, великолепных всадников в остроконечных шапках из войлока и со щитами в форме полумесяца. В русской армии, сражавшейся с Наполеоном в 1814 году, были сибирские лучники, которых французы прозвали Les Amours. Я не берусь утверждать, что это были скифы, но ясно, что древний скиф (полуобнаженный, со своим маленьким изогнутым луком), должно быть, выглядел скорее как варвар-переросток (Примечание 21) Купидон. В Афинах считалось комичным изображать скифа. Только в связи с этим следует помнить, что афиняне набирали свою полицию из Скифии и что человеческий разум, по-видимому, находит в полицейском нечто изначально комичное.

Не все скифы были дикарями. Некоторые из них были искусными фермерами. С ними греческие поселенцы вступали в браки, и уже у Геродота там было значительное население метисов. Такой пестрый городок, как Ольвия, был местом для историй — историй о "кочевниках", которые не пашут и не сеют, а медленно бредут по бескрайним степям в своих цыганских фургонах, в которых женщины и дети ютятся под натянутой крышей из шкур; историй о таврах, которые живут в Крыму и приносят потерпевших кораблекрушение в жертву своему кровавому идолу, ударяя их дубинками по голове, как тюленей. А со своими врагами, когда они их покоряют, они обращаются следующим образом. Каждый мужчина отрезает голову и уносит ее к себе домой, а затем, насадив на длинный шест, водружает высоко над домом, обычно над дымоходом; потому что они хотят, чтобы весь дом был защищен головами там, наверху. Они живут грабежом и войнами. Неврои, еще одно из этих скифских племен, были изгнаны со своего первоначального дома "змеями", и выглядят так, как будто они могли быть колдунами. Ибо скифы и греки, живущие в Скифии, говорят, что раз в год каждый мужчина Невроя превращается в волка, но через день или два возвращается в человеческий облик. Теперь, когда они говорят это, они не убеждают меня, Геродот — все же они говорят это и даже приносят клятву, говоря это. Но Людоеды - худшие дикари из всех, потому что они не следуют ни правилам, ни закону какого-либо рода. Они кочевники, одеты как скифы, имеют свой собственный язык и являются единственными канибалами среди (Примечание 22) этих народов. Все чернокожие носят черные плащи. Отсюда и их название. Их обычаи - скифские. У всего великого племени будино ярко-голубые глаза и чрезмерно рыжие волосы. Они живут в деревянном городе. Они кочевники-аборигены и питаются вшами.

За пределами Будино жили люди, которые были лысыми от рождения — мужчины и женщины, — к тому же у них были курносые носы и большие подбородки. Лысые питались дикой вишней, выжимая густой и темный сок, а затем слизывая его или запивая молоком. Они жили под деревьями, каждый под своим деревом, на котором зимой он растягивал кусок белого войлока, чтобы сделать что-то вроде палатки. По горам скакали козлоногие люди; а за козлоногими жили люди, которые спали шесть месяцев в году. Исседоны ели своих мертвых отцов, черепа которых они впоследствии позолотили и почтили жертвоприношениями. "В других отношениях" они считались справедливыми, и женщины пользовались среди них таким же авторитетом, как и мужчины. Затем появились одноглазые аримаспы и охраняющие золото грифоны....

Предположим, мы изменим обстановку и отправим милезийский корабль в плавание к побережью Африки. Что бы там нашел купец? Геродот расскажет нам. На берегах Большого Сиртиса живут насамоны. Они летом (по его словам) оставляют свои стада на берегу моря и отправляются в горы собирать финики в оазисе. Они ловят саранчу, сушат ее, толкут, подсыпают пыль в молоко и проглатывают настойку. За пределами их территории находятся гараманты, “в Стране диких зверей”. Они убегают, когда кого-нибудь видят, и не знают, как драться. К западу от Насамонеса на побережье живут макаи, которые причесываются петушиным гребнем и сражаются со щитами из страусиной кожи. За Макаи живут гинданы, женщины которых носят кожаные браслеты на ногах, надевая новый браслет на ногу каждому новому любовнику. “И у каждой женщины много браслетов на ногах”. На мысе в этом регионе обитают пожиратели лотоса

Кочевники кочуют от оазиса к оазису по земле соли и песка. Здесь обитает раса троглодитов, или Пещерных людей, самых быстрых из человеческих существ, за которыми гараманты охотятся на колесницах, запряженных четверкой лошадей. Троглодиты питаются змеями, ящерицами и другими рептилиями. Их язык совсем не похож на человеческий, а похож на писк летучих мышей. На некотором расстоянии от гарамантов живут атаранты, среди которых ни у кого нет имени. Они, когда солнце слишком припекает, проклинают его и стыдятся за то, что он опалил их самих и их землю. Говорят, что атланты, чье жилище находится под горой Атлас и ее скрытыми пиками, являются вегетарианцами и не видят снов. За ними простирается неведомая пустыня, где люди живут в домах, построенных из соли, потому что там никогда не бывает дождей. В окрестностях кочует несколько племен, о которых Геродот обычно замечает: “Все эти народы красят себя киноварью и едят обезьян”.

Что ж, именно в таком мире зародилась греческая цивилизация. Не говорите, что я описываю отдаленное варварство. Удаленность - это нечто большее, чем просто пространство, и для ионийцев море было не преградой, а наоборот. Например, они знали все южное побережье Черного моря лучше, чем свою собственную азиатскую глубинку. Но даже если мы исключим Черное море и Ливию как отдаленные, где они поначалу не обнаружили варварства? В Элладе? Но они только что бежали из Эллады, изгнанные дикими первыми “дорийцами”, которые неуклонно разрушали то, что ионийцы в их новом доме пытались спасти. В Месопотамии? Но между ним и ними лежала вся гористая Анатолия, населенная различными расами, большинство из которых были дикарями, все они были враждебны. Египет сначала и надолго был закрыт для них из-за исключительной внешней политики. Неоригинальная и материалистическая культура Финикии была утрачена (чего бы она ни стоила) из-за коммерческого соперничества. Западу пока нечего было дать. Малочисленная, нуждающаяся во всем, запертая с такими соседями, Иония обнаружила в себе силу вытащить свои ноги из этого болота и основать нашу современную цивилизацию разума, свободы и творческой энергии.

Естественно, процесс требовал времени. Первое столетие или около того, должно быть, было в значительной степени потеряно в простой борьбе за выживание. Возможно, в некотором смысле даже имел место регресс — исчезновение микенской культуры, допущение “карийских” элементов, нуждающихся в постепенной ассимиляции. Этот период исторически настолько неясен для нас, что, когда мы начинаем замечать признаки экспансии, они поражают нас своей внезапностью. Милет сразу становится ведущим городом греческого мира. Он насаждает колонию за колонией в Дарданеллах, в Мраморном море, вдоль берегов Эвксинского

полуострова. Иония бодрствует, в то время как Эллада все еще спит. Ионические торговцы, ионические солдаты, ионические корабли повсюду. Люди Фокаии открыли торговлю с Адриатикой, Этрурией, Испанией. В правление Псамметиха — Первого или Второго — некоторые ионические и карийские пираты были (Примечание 25) вынуждены высадиться в Египте. Они были одеты по своей моде в бронзовые доспехи. Египтянин пришел на Болота и сказал царю, что “бронзовые люди с моря опустошают равнину”, хотя никогда прежде не видел людей в таких доспехах. Теперь слова посланника были теми самыми словами оракула, который повелел Псамметиху обратиться за помощью к “бронзовым людям с моря”, поэтому царь нанял чужеземцев служить в своей армии и с их помощью победил своих врагов. История (которая есть у Геродота) рассказана таким образом, чтобы спровоцировать скептиков. Но подождите минутку. В Абусимбеле в Верхнем Египте есть большой храм, а перед храмом стоят колоссальные статуи. На ножках одной из них нацарапаны греческие слова: *Когда царь Псаматих прибыл на Элефантину, те, кто плывал с Псаматихом, сыном Феокла, написали это; и они прошли выше Кертиса, насколько позволяла река, и Потасимпто повел людей, говоривших на чужом языке, а Амасис - египтян. Архонт, сын Хамоибихоса, и Пелекос, сын Гудамоса, написали мне* — это надпись. Внизу подписи солдат, говорящих по-гречески. Авторы, должно быть, были ионийскими наемниками под командованием лидера, который по какой-то причине принял имя царя. Именно таким людям мы обязаны нашими именами для египетских вещей. “Крокодил” - это просто ионическое слово, обозначающее ящерицу, а “пирамида” на самом деле означает пшеничную лепешку. Страусов они называли “воробьями”. Британский рядовой в Египте вероятно, и сегодня отпускает подобные шутки. Возвращаясь к надписи, отметим, что “люди с чужой речью”, которыми командовал Потасимпто — египетское имя - вероятно, были карийцами. Дата написания не может быть позднее 589 г. до н.э., когда Псамметих II (Примечание 26) перестал править. Не столько дата поражает, сколько тот факт, что эти бойцы (которые, мягко говоря, вряд ли получили лучшее ионическое образование) умели разборчиво писать. Я признаю, что их орфография не является наигранно пуристской; но ведь орфография - это современное искусство.

Первый великий иониец (не принимая во внимание мнение некоторых о том, что Гомер был ионийским поэтом) был величайшим из всех. Это был Архилох, родившийся на маленьком острове Парос где-то в конце восьмого века до Рождества Христова. Его поэзия почти утрачена, а о его жизни мало что известно. Древние, у которых он был для чтения, говорили о нем на одном дыхании с Гомером. Он был не только великим поэтом, но и поэтом нового типа. До него люди использовали традиционный стиль героического эпоса. Этот Архилох поет о себе. Мы слышим в нем голос такой же личный, такой же пронзительный, как у Вийона, Гейне или Бернса; это революционный голос. Современной литературе нечему учить Архилоха. Это видно по жалким скудным фрагментам его удивительной поэзии, дошедшим до нас.

Что касается самого человека, то дело против него выглядит довольно мрачно. Сам он совершенно не смущен. Но он также жалуется на невезение, и, возможно, в этой просьбе что-то есть. Если бы он был незаконнорожденным, ему многое можно было бы простить; но эта теория, похоже, основана на неправильном понимании его значения. Его отец, очевидно, был важным человеком среди парийцев. По-видимому, нет никакой веской причины, по которой Архилоху было бы так плохо, кроме причины темперамента. *Одну великую вещь я знаю, - сказал он, - как жестоко отплатить человеку, который причинил мне зло.* Он, конечно, знал это, но это знание не делало его популярным. Он никогда не умел ладить с людьми. Он ненавидел Парос, где, можно было бы подумать, у сына его отца были неплохие шансы на счастье. *Будь проклят*

Парос, и эти фиги, и жизнь в море. Позже он сопровождал колонию, возглавляемую его отцом, на остров Тасос у фракийского побережья; и Тасос нравился ему не больше, чем Парос. *Это торчит*, говорит он в своей яркой манере, *как ослиный хребет, затянутый в дикий лес.* Он также ворчит, что *эпидемии всей Эллады разом докатились до Тасоса.* Он не любил море, и все же часто бывал на нем. Работать веслом и жевать лук, без сомнения, казалось ему убогим представлением о жизни, но захватывающая строчка *Давайте спрячем горькие дары Владыки Посейдона* скорее внушает ужас воображению. Этот мужчина - мастер такого рода зловещей красоты. *Погибло тридцать человек — мы настигли их своими ногами — мы убили тысячу.* Вот вам и снова. О да, у него было всепоглощающее чувство прекрасного и потрясающее воображение, но также у него было кое-что еще. В этом-то и заключалась трагедия. В его гениальности был такой поворот, который причинил боль как ему самому, так и другим людям. Он любил девушку, которую видел, как она *играла с миртовой веткой и розой в тени своих ниспадающих волос.* Он верил, что она была обещана ему в жены, но что-то случилось, и они не поженились. О Необуле и ее отце можно сказать, что Архилох был не из тех, из кого получились хорошие мужья; и если кто-то все еще склонен осуждать их, он может смягчиться, когда услышит, что поэт нападал на них с невероятной горечью на языке — нападал до тех пор, пока, согласно легенде, они не повесились. Тем временем он последовал зову своего темперамента или бедности, в которую его завел этот темперамент, и стал профессиональным солдатом. *Меня будут называть наемником, как карийца,* - говорит он с оттенком того, что выглядит как бравада. Что за жизнь для поэта! *Я слуга Владыки Войны, и я знаю прекрасного гердона Муз,* - великолепно говорит он. Его образ жизни отражен в его речи. В ней есть похоть и опьянение, а также своего рода солдатская веселость. *Дикая смоковница на скале, кормящая множество ворон, добродушный пасифил, радушно принимающий незнакомцев.* Пасифил вряд ли нуждается в комментаторе. Не соответствует этому и полустрочка, сохраненная грамматиком (который процитировал ее для иллюстрации дательного падежа) - *пораженный вшами.*

Архилоха послали сражаться с сайоями, диким племенем фракийского материка напротив Тасоса. Казалось бы, греки потерпели поражение. Во всяком случае, он, например, убежал, бросив свой щит — для греческих чувств непростительное оскорбление. Кто нам это сказал? Сам Архилох нагло добавил, что ему все равно; он легко может раздобыть другой щит, и тем временем его кожа будет цела. Древний мир так и не оправился от скандала, вызванного этим признанием. Архилох усугубил ситуацию стихотворением, адресованным другу, в котором он замечает, что у человека, который уделяет много внимания обвинениям в трусости, будет не так уж много удовольствий. Но трусы не становятся солдатами и не пишут юмористических отчетов о своем проступке. Он был бойцом до последнего. Его убил человек с Наксоса.

Во фрагментах "Архилоха" есть нотки нежности и даже деликатности, нотки необычайно впечатляющего пафоса. В нем действительно есть все нотки, от похабщины до божественности. Было бы абсурдно называть его плохим человеком — точно так же абсурдно, как называть его хорошим. Он мужчина. И что делает его таким увлекательным, так это то, что впервые в литературе человек выражает себя. Его необычайное величие - почти второстепенный вопрос по сравнению с этим знаменательным явлением. Именно ионийцы произвели его на свет.

Архилох был поглощен своими собственными приключениями, но даже он, должно быть, заметил грандиозные события, которые меняли народы на его глазах. Свирепый и многочисленный народ, известный грекам как киммерийцы (*киммерийцы* — их название сохранилось в Крыму и Крымской Татарии), вырвался на свободу или был изгнан из своих домов

в степях и хлынул в Малую Азию, по-видимому, через так называемую “пропасть Сангариос” во Фригии. Вы можете увидеть их сражающимися с ионийцами на саркофаге из Клазомен, который находится в Британском музее. Они скакали без седла на наполовину прирученных лошадях и убивали огромными мечами в форме листьев. Они уничтожили могущество Фригии, в то время величайшей на полуострове, и царь Мидас, последний из своего рода, покончил с собой (люди говорили, что он выпил бычью кровь). Лидия унаследовала место и опасность фригийцев. Она находилась под властью нового царя (по имени “Гугу”), который вел ожесточенную борьбу, но в конечном итоге, около 650 г. до н.э., был побежден и убит полуголыми всадниками под командованием их царя Тугдамми, разграбившими ионические города. Ионийцы, однако, объединились с Ардисом, сыном Гугу, или Гигеса, как называли его греки, и вместе с лидийцами разбили этого Тугдамми и изгнали его народ. Затем цари Лидии, обеспеченные, сильные и богатые, обратили свое оружие против Ионии, которой отныне предстоит вести одну долгую и заведомо проигрышную битву с превосходящими силами врагов. Гигес, Ардис, Садьятес, Алиаттес, Крез — все они напали на нее. Тем временем, в правление Алиатта, величайшего из этих монархов, на востоке Лидийской империи укрепилась новая и гораздо более внушительная держава. Это было царство мидян. Соперники вступили в великую битву, которая закончилась в сумерках и тревоге из-за полного солнечного затмения 28 мая 585 года до н.э. На время они заключили мир, и Алиаттес мог приступить к постепенному сокращению портов. Но в следующем поколении — ибо весь Восток пришел в движение — мидяне, в свою очередь, попали под власть родственных персов и великого завоевателя Кира, который в свое время устремился на запад со своими непобедимыми пехотинцами и незнакомыми верблюдами, в одно мгновение разрушил Лидию и презрительно оставил полководца завершать завоевание Ионии.

Все это время, и даже при персе, ионийцы продолжали развивать и обогащать мировое сознание. Если наука означает попытку найти рациональное, а не мифологическое объяснение вещей, то ионийцы изобрели науку. Фалес Милетский предсказал это затмение. Анаксимандр Милетский придерживался теории о происхождении жизни, которая предвосхищает современные предположения. Он написал об этом книгу, которая, вероятно, стала первым образцом художественной прозы на греческом языке. Он также составил первую карту. Его согражданин Гекатей придумал историю.... Это лишь некоторые из вещей, которые сделали ионийцы. Остальные эллины — сначала колонии в Италии и на Сицилии, затем афиняне — заразились от них пламенем и поддерживали его во время последующих бурь. Но на это не было больше времени, когда облако с востока опустилось на Ионию. Афины могли поднять факел. Но Иония пала.

II

СОХРАНЕНИЕ ПРОПУСКА

Неисчислимый поток Востока изливался из Фессалии на Малийскую равнину, затопляя ее двумя главными каналами: горной дорогой через перевал Таумаки и прибрежной дорогой вдоль берега Малисского залива, изгибающегося на запад. Первыми пришли пионеры, затем бойцы,

затем множество приверженцев лагеря и поезда с припасами, которые кормили все это количество на протяжении стольких лиг по враждебным и неубранным регионам. Достигнув вершины крутого подъема на Таумаки, если бы кто-нибудь оглянулся на вид, давший этой точке название *Место удивления*, он, должно быть, увидел бы широкую Фессалийскую равнину, оживленную непривычным движением людей, тележек с багажом и животных, испещренную движущимися точками варварской окраски. По мере того, как непрерывный поток тек мимо него, он мог разглядеть все более детально — “Персов, мидян и эламитов”, различные контингенты с их различным вооружением; пехотинцев и всадников; мулов в вьюках и несколько медленно шагающих верблюдов с высокими шеями, у некоторых из которых на боках было доказательство того, что в Македонии водятся львы. Сквозь шум марша доносился вавилонский гул странных восточных языков. За всем этим очень далеко виднелся тенистый пояс огромных гор, с самой высокой и отдаленной из которых боги Олимпа взирали на вторжение в Грецию.

Но Ксеркс, ехавший по прибрежной дороге туда, где она пересекается с маршрутом Таумаки в Ламии, увидел совсем другое зрелище. Гора Оэта раскинула перед ним свой дикий массив. На своей западной оконечности (к которой он приближался) хребет громоздится бесформенной массой, тесня друг друга своими вершинами, которые здесь удивительным образом внезапно возвышаются примерно на шесть или семь тысяч футов над равниной. По мере продвижения системы на восток она опускается на гораздо более низкий уровень, но и там ее надежно охраняют черные пропасти Трахинских утесов. К востоку, однако, он продолжает снижаться, пока не достигнет, возможно, высоты менее трех тысяч футов, затем снова поднимается еще на две тысячи. Это та часть, которая называлась Каллидромос. Между болотистым берегом залива и обрывистой стеной горы проходит перевал. Возвышаясь над всем, на огромном расстоянии возвышается странный, огромный пик под названием Джиона; в то время как далеко на юге можно разглядеть самую знаменитую гору в мире.

При ярком солнечном свете того знойного дня король не мог не заметить на своей стороне Перевала, под самыми высокими пиками хребта, огромную черную брешь в скалистом барьере. Когда он приблизился, оказалось, что это ущелье, по которому измученный Асопос прокладывает свой узкий путь между отвесными стенами на высоте, которая тревожит разум. На небольшом пространстве за ущельем, на дальней стороне Асопоса, где оно впадает в залив, [\(Примечание 34\)](#) начинается Перевал. Армия была остановлена. Ксеркс выслал вперед разведчика.

Разведчик въехал на Перевал в том месте, где море едва оставляло место для дороги между ним и горой, которая здесь, постепенно подчеркивая пологий склон у вершины, круто обрывается на последних нескольких сотнях футов. Он проехал милю и никого не встретил. Затем Проход, немного отклоняясь вправо, показал ему старые храмы, где амфиктионы, “Обитатели Окрестностей”, обычно собирались по своим священным делам. Дорога некоторое время огибала морское болото, затем пошла вверх по длинному склону. Он осторожно добрался до вершины. Прибыв туда, он сразу же увидел, как бы бросившиеся ему в лицо (такими близкими они кажутся), чудовищные пропасти Каллидромоса высотой в три тысячи футов, все блестящие на его восточном конце беловатыми отложениями тех прозрачных голубовато-зеленых серных источников, которые дали название этому знаменитому месту — “Горячие ворота”, *Фермопилы*. Но у разведчика не было глаз для этого великого видения, ибо там, где дорога снова подходит к скалистой стене, он увидел красные туники спартанских гоплитов.

Что они делали? Некоторые из них практиковались во владении оружием. Некоторые сидели на земле и — да - расчесывали свои длинные волосы! Один из них, должно быть, пошутил, потому что остальные расхохотались. Разведчик ничего не мог понять. Он пересчитал их: смешная горстка. На самом деле их было гораздо больше, чем он мог разглядеть; древняя стена поперек Перевала скрывала остальное. Разведчик спокойно вернулся со своей информацией. Итак, одна из причин, по которой спартанцы причесывались, заключалась в следующем. У них было принято расчесывать волосы мертвых.

Они знали, что им предстоит. Двое из их шпионов были схвачены Ксерксом, который отпустил их после того, как полностью показал им весь свой арсенал. В результате такой политики донесения шпионов вряд ли соответствовали фактам. Весь Восток был в движении! Помимо персов, мидийцев и киссийцев, составлявших цвет армии вторжения, наступали ассирийцы, одна из величайших рас-завоевателей в истории, отличавшаяся своими бронзовыми шлемами и кожаными ремешками, причудливо переплетенными, своими дубинками, утыканными железными гвоздями, и полотняными нагрудниками. Приближались бактрийцы со своими тростниковыми луками; сакаи в остроконечных шапках из овчины, вооруженные местными боевыми топорами; темнокожие индейцы в хлопчатобумажных одеждах, с бамбуковыми луками и стрелами с железными наконечниками. Здесь были закутанные в шкуры каспийцы с мечами и луками; сарангийцы в крашеных одеждах и сапогах до колен; пакти, оутиои, микои, париканиои.... Там были арабы в развевающихся бурнусах, стрелявшие из длинного лука; эфиопы в шкурах леопардов и львов, с копьями из рога антилопы, боевыми булавами и огромными луками из расщепленного пальмового дерева с маленькими стрелами, наконечники которых были отделаны агатом; они, отправляясь на битву, окрашивали половину своего черного тела мелом, а половину - киноварью. (“Восточные эфиопы” носили на головах лошадиные скальпы с прикрепленными гривой и ушами; их щитами служили спины журавлей.) Здесь были ливийцы из Северной Африки в одежде из козьих шкур; и пафлагонцы в расшитых косичками головных уборах. Там были фригийцы, армяне, лидийцы, мизийцы. Там (Примечание 36) были фракийцы в своих лисьих шапках, в набедренных повязках из оленьей кожи, в длинных разноцветных плащах. Были племена, вооруженные маленькими щитами из коровьей шкуры и охотничьими копьями, по два на каждого воина; на их головах были бронзовые шлемы, а на шлемах - уши и рога быка из бронзы, их ноги были обмотаны малиновыми повязками. Там были миляи в плащах, скрепленных брошами, и в кожаных тюбетейках на головах; мосхои, чьи шлемы были сделаны из дерева; тибаренцы, макроны, моссинойкои; кобылы; колхидцы в деревянных шлемах и щитах из необработанной кожи; алародианцы и саспейры; племена с островов Красного моря

Это (и многое другое) была пехота короля. Кроме того, там были кавалерия и флот.

Там была прекрасная персидская кавалерия. Здесь были сагартийцы, которые сражались с помощью лассо; мидяне и киссийцы; индийцы, некоторые верхом на лошадях, некоторые в колесницах, запряженных лошадьми или дикими ослами; бактрийцы и сакаи; ливийские колесничие; периканцы; арабы на верблюдах.

Для формирования огромного флота прибыли знаменитые мореплаватели Финикии и сирийцы Палестины — мужчины в шлемах, с полотняными нагрудниками и щитами без оправы, метатели копья. Египтяне послали свой флот, люди которого носили на головах защитные приспособления из кос, имели пустотелые щиты с огромными ободками и были вооружены

абордажными пиками, секирами и большими треугольными кинжалами. Кипрский контингент можно было узнать по тюрбанам их “королей” и обычным фетровым шляпам. Киликийские моряки были там в шерстяных свитерах. Там были памфилийцы. Ликийские команды носили поножи и кирасы и были вооружены луками из кизилового дерева и тростниковыми стрелами без оперения, а также литыми копьями; вы узнавали их по козьим шкурам, спадающим с плеч, шляпам с плюмажами, кинжалам и фальшионам в форме полумесяца. Там были дорийцы из Азии, люди греческой расы; увы, покоренные ионийцы; некоторые с греческих островов; золийцы; “геллеспонтийцы”. На борту каждого корабля находился отряд воинов.

Для защиты Перевала было триста спартанцев; если быть точным, 297 человек, все отборные мужчины и, чтобы их раса не исчезла за пределами Спарты, все отцы сыновей. Их сопровождали менее вооруженные слуги. Там было 2196 человек из Аркадии, 400 из Коринфа, 200 из Флия, 30 из гомеровских Микен, ныне полуразрушенного маленького городка, 700 феспийцев, 400 фиванцев сомнительной лояльности, 1000 фокейцев, весь набор опунцианских локрийцев; всего не более восьми тысяч человек. Всеми войсками командовал один из двух спартанских царей. Вы знаете его имя.

Правый фланг греков опирался на узкое море между побережьем Мали и Эвбеей. Афинский флот находился в Артемидии, охраняя пролив от значительно превосходящего флота противника. С высоты над дорогой Леонидас мог подать сигнал афинскому адмиралу.

Король приготовился атаковать одновременно с суши и с моря. Пока великая армия пробивалась в Малис, его флот плыл вдоль железного побережья Магнезии, где море обрывается под надвигающимся хребтом лесистого Пелиона. Была выделена эскадра для обхода Эвбеи и отрезания пути отступления греческих кораблей в проливах. На следующее утро все должно было быть готово к согласованному нападению. Основная часть флота вошла бы в Малийский залив, в то время как другие корабли входили в “Эвбейские впадины”. Тогда Ксеркс бросится на Перевал.

Только душной ночью, последовавшей за долгим, жарким днем, на высотах Пелиона загрохотал гром. Он перерос в сильную грозу, и наблюдатели на Эвбее время от времени видели, как весь хребет озарялся яркими молниями. Затем ветер — “Геллеспонтер” с северо-востока — усилился до такой степени, что море быстро пришло в смятение. Три дня бушевала буря, три ночи греческие костры развеивали на ветру их рыжие бороды. Огромное количество персидских кораблей было выброшено на скалы у мыса Сепиас. Эскадрилья, посланная обогнуть Капареус, потерпела крушение в Лощинах. Было потеряно такое богатое сокровище, что фермер близ Сепиаса стал самым богатым греком своего времени, просто собирая то, что было выброшено на берег. И в течение этих трех дней Ксеркс должен засечь время перед Перевалом.

На четвертый день персидскому флоту удалось войти в Пагасейский залив. Затем Ксеркс отдал приказ атаковать. Его персидская телохранительница, десять тысяч “Бессмертных”, которые были его лучшими войсками, находились в резерве. Тем временем мидяне и киссийцы, замечательная пехота, для которой победы давно стали привычкой, были посланы вперед, чтобы сломить сопротивление спартанцев. Они были одеты в облегающие кожаные одежды, в брюки (что удивило греков) и любопытные шапочки, похожие на фески, из мягкого войлока или хлопка, (Примечание 39), выступающие спереди в виде свисающего рога. (Но киссийцы носили тюрбаны.) У них были разноцветные туники с рукавами и кирасы из бронзовой чешуи, похожей на кожу какой-нибудь огромной рыбы. У них были плетеные щиты, из-за которых они метали

свои длинные копья (но греческие копья были длиннее) и стреляли тростниковыми стрелами из своих маленьких луков (но греческие луки были меньше). Справа от них на поясах висели колющие мечи длиной в фут. Их император, восседавший на золотом троне с серебряными ножками, наблюдал, как они идут на штурм. На голове у него была жесткая феска, стоящая торчком, на ногах - шафрановые тапочки. Его мантия была пурпурной, пурпурными были его штаны и ниспадающая мантия, расшитые белым священными ястребами его бога Ахурамазды. Он был опоясан золотым поясом, с которого свисал его персидский меч, густо усыпанный драгоценными камнями.

Мидяне и киссийцы атаковали с яростью. Против этих более легковооруженных войск спартанцы с их металлическими доспехами и большими тяжелыми копьями оказались бы в ужасном невыгодном положении. Для них было жизненно важно вести бой с врагом на ближних дистанциях. Следовательно, тактика Леонидаса была разработана для достижения этой цели. Его люди совершали короткие броски в гущу противника; притворялись бегущими; снова перестраивались и возобновляли атаку. Они делали это снова и снова. Какая дисциплина! На этом узком пространстве шириной в пятьдесят футов тяжелые лакедемонянские копья греческого авангарда пробивали плетеные щиты и чешуйчатые доспехи варваров, как папирус, в то время как наконечники средних копий гнулись или ломались о прочный щит и нагрудник спартанских гоплитов. Леонидас почти не потерял ни одного человека. Враг все еще наступал, вопя; их мертвецы загрохотали вход в ущелье. Час за часом в ту погоду позднего лета бушевал бой. Облаченные в свои доспехи, во многом полагаясь на простое превосходство физической силы, когда они отбивались от нападавших щитами, все это время спартанцы придерживались этой яростной тактики наступления. И тогда Ксеркс послал на них "Бессмертных".

Эти люди были совершенно свежими. Они значительно превосходили численностью не только спартанцев, но и всех защитников Переваля вместе взятых. Они были цветком одной из величайших армий-завоевателей в истории. Спартанцы снова поднимали щиты и возобновили яростную битву. Они устроили ужасную резню Бессмертных, пока к концу долгого дня персы не отступили, разбитые и сбитые с толку. Спартанцы упали на землю и заснули как убитые.

Следующий день был повторением предыдущего.

Ксеркс или его военачальники забеспокоились. Самое тесное сотрудничество с флотом было необходимо для обеспечения продовольствием столь многочисленного войска, а флоту не удалось проникнуть в Малийский залив. И Переваля еще не был форсирован.

В этот критический час один человек жаждал аудиенции у короля. Он был малийским греком, уроженцем региона, и знал всю Оэту, как одну из ее лисиц. (Много лет спустя, когда за его голову была назначена награда, что-то влекло его обратно на место его бессмертного преступления, чтобы быть убитым там без участия общественного мстителя.) Этот парень предложил за золото повести персов известной ему тропой, которая привела бы их долгим, крутым, кружным подъемом и спуском к позиции в тылу у людей на Переваля. Предложение было с готовностью принято.

Гидарнес, командующий Бессмертными, отправился в путь под руководством предателя. Когда они покинули персидский лагерь, сгустилась тьма, и тут и там начали мерцать фонари. Проводник повел их в дикое ущелье Аспос. Если снаружи свет угасал, то здесь уже была ночь. Высоко над своими головами мужчины могли видеть одну или две звезды, сияющие в узкой

щели, где, казалось, почти сходились отвесные стены ущелья, настолько высокими они были. Тропинка, по которой с трудом мог пройти нагруженный мул, проходила вдоль русла стремительного ручья по гравию и между большими валунами. Это была часть старой горной дороги, ведущей в Дельфы, и она была хорошо известна паломникам и бандитам. У нее была дурная репутация. “Малийцы когда-либо плохо использовали ее”. (Мы можем себе представить, какое применение имел обыкновение находить этому наш малиец.) Более того, аспо иногда внезапно поднимались и с ревом неслись вниз по оврагу, затопляя дорогу. Зловещий путь.

Примерно три мили персы гуськом двигались по ущелью, которое затем переходило в долину, по склону которой они с трудом взбирались, опираясь на свои копья, по тропе, становившейся все более неровной и крутой. Иногда путь вел их через смолистый еловый лес. Время от времени человек спотыкался в густом кустарнике или о выступающий край скалы. Суеверный ужас, порожденный темнотой на таких холмах в умах тех, кто поклонялся Ариману, смутил их и заставил замолчать. Наконец они вышли на нечто вроде каменистой мостовой. Затем они спустились в овраг и взобрались на противоположный склон. Когда они поднимались, темнота немного рассеялась; слабое мерцание исходило от их золотых браслетов и золотых и серебряных гранатов на наконечниках копий. Когда они достигли вершины тропы под названием Анопая, по которой так долго шли, за острой вершиной горы Саромата уже занималась ясная заря.

Анопая не была неизвестна защитникам Перевала, и Леонид выделил свой фокийский отряд для его охраны. В тишине той безветренной ночи, за час до рассвета, фокейские аванпосты слышали таинственный звук — что-то вроде легкого, сухого, непрерывного рева, постепенно приближавшегося и становившегося все громче. Это были персы, проходившие через дубовый лес и разгонявшие ногами опавшие листья многих осени. Внезапно мужчины появились на открытом месте. Фокейцы были застигнуты врасплох. Под градом стрел они отступили к небольшому форту, венчавшему возвышенность примерно в полумиле от них. Там они ожидали атаки Гидарнеса. Но он, не обращая внимания на этих фокейцев, продолжал идти по тропинке, которая теперь начала спускаться, очень крутой и узкой. Вскоре он будет на дороге позади Леонида. Проход был свернут.

Пока была еще ночь, к грекам пришли дезертиры с известием о переходе через гору. Вскоре после этого с высоты прибежали разведчики, подтвердившие этот рассказ. Традиция гласит, что Леонид в столь отчаянном положении приказал своим союзникам отступить и спасаться самим; что касается его самого и его людей, то им было приказано защищать Перевал изо всех сил. Однако недавно было высказано предположение, что выведенные контингенты отправились навстречу Гидарнесу. Если такова была их цель, то либо они пришли слишком поздно, либо упустили врага, либо, подобно фокейцам, уклонились от конфликта, поскольку шансы были против них столь велики. В любом случае, теперь они исчезли из истории. Это были все греческие силы, за исключением лакедемонян, тысячи человек, которые, должно быть, составляли почти всю боевую мощь Феспиаи, и четырехсот фиванцев. Говорят, что некоторые из них, фиванцы, были удержаны Леонидом в качестве заложников, поскольку их город уже был запятнан подозрениями в нелояльности. И все же, возможно, они были настоящими людьми. Но актеры охотно остались. Даже когда стало известно, что Гидарнеса не остановить, они решили остаться. У них не было традиционного кодекса воинской чести, как у спартанцев; их доля была в двадцать раз больше. “Их предводителем был Демофил, сын Диадромы, самым храбрым человеком был Дифирамбос, сын Гарматиды”.

Было уже совсем светло, когда Ксеркс, согласно договоренности, атаковал. Греки, которые до сих пор выстраивались за старой стеной, которую персидский разведчик видел протянутой вдоль гребня холма в самой узкой части Перевала, теперь, зная, что конец близок, вышли на более широкое пространство за ним. Затем последовала битва, которую люди, которые только читают о ней, никогда не забывают. Варвары наступали волна за волной; греки убивали и убивали. Они могли видеть, как персидские военачальники хлещут своих людей кнутахми в атаку. Время от времени кто-нибудь из них падал со звоном бронзы. Но враги падали кучами. Многие были сброшены в море и утонули; еще больше было затоптано до смерти ногами своих собратьев. Два брата Ксеркса были убиты.

Затем Леонидас пал.

Спартанцы собрались вокруг своего царя и сражались, чтобы спасти тело. К этому времени их копья были сломаны, и они сражались мечами. Появился один из двух мужчин, оставшихся на базе на последних стадиях офтальмии, ведомый своим слугой. Илот повернул своего господина лицом к врагу и убежал. Слепой, спотыкаясь, двинулся вперед, нанося яростные удары, пока не был убит. Четыре раза варваров отбрасывали назад, и тело Леонида было спасено.

Пришло известие, что Бессмертные находятся в пути позади них. Поэтому греки изменили свой план сражения и отступили в более узкую часть прохода; все, кроме фиванцев, которые сдались врагу. Воины Спарты и Феспии с боями пробились обратно к кургану, за каменную стену, пересекавшую курган, и там дали свой последний бой. С криками варвары окружили их спереди, с флангов и тыла. Через мгновение стена пала. Те из греков, у кого еще были мечи, продолжали ими пользоваться. Когда у них не осталось мечей, они сражались голыми руками и в конце концов умерли, разрывая плоть своих врагов, как волки зубами.

Так, и не более легко, Ксерксес преодолел Перевал.

(Примечание 45)

III

ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Греческий мир, как и английский, был в значительной степени создан людьми, склонными к приключениям. Следовать по их следу само по себе было бы литературным приключением, наиболее увлекательным и полностью относящимся к нашей теме - конфликту грека и варвара. К сожалению, к нашей радости, искатели приключений не часто записывали свой опыт; а если и записывали, то их рассказы по большей части исчезли. Жил-был некий Пифей из Массалии, то есть Марселя, который примерно во времена Александра Македонского плавал вдоль восточного побережья Англии и открыл Шотландию, а впоследствии написал об этом книгу. Мы хотели бы прочитать эту книгу, хотя бы для того, чтобы увидеть, что он сказал о Шотландии. Но его рассказ утерян, и мы вряд ли вообще узнали бы о нем, если бы не краткое упоминание у географа Страбона. Пифеас, кажется, добрался до Оркнейских или даже Шетландских островов — один немец отправляет его в полярную экспедицию - и ему было что сказать о таинственном

“Туле”. Он отметил необычайную продолжительность летних дней в этих северных широтах, тем самым провоцируя своих соотечественников считать его “чрезвычайно лживым” (Ψευδιστᾶτος).

(Примечание 46)

Задолго до времен Пифея некий Скайлакс из Карианды в Малой Азии — грек или полугреческий — был послан царем Дарием исследовать устья Инда, этой “второй из всех рек, где водились крокодилы”. Он плыл по реке “навстречу рассвету и восходам солнца в море и через море на запад”, обогнув Индию. Что это была за река? Какая бы это ни была река, он совершил замечательное дело. Скайлакс, по-видимому, также написал книгу об этом путешествии. Существуют фрагменты его *путешествия по Местам, Где нет Геракловых столпов*. Его индийское повествование, возможно, было худшим написанным томом в мире, но оно не могло не будоражить воображение в каждом предложении. Плавание по реке крокодилов на греческой галере во времена правления царя Дария!

Скайлакс был ионийцем или ионизированным карианцем; и это напоминает нам, что Иония произвела на свет первых искателей приключений. К созданию этой колонии привело великое смешение рас. Возможно, первые поселенцы действительно прибыли с Крита, принеся с собой все, что могли, от ослепительной критской цивилизации. Многие, безусловно, были выходцами из Греции, которая наслаждалась цивилизацией, зародившейся на Крите. Несомненно, колонистам приходилось принимать помощь откуда угодно и усыновлять сомнительных беглецов из дорианизированной Эллады и “туземцев” — карийцев, лидийцев, лелегов и им подобных, которые научились говорить на подобии греческого, — и жениться на туземных женах, которые даже этому не научились, и которые не ели со своими мужьями, и упорствовали в ряде других иррациональных и несимпатичных обычаев. Но можно полагать, что какая-то память о древних знаниях сохранялась долгое время, и в частности, знание (Примечание 47) о морских маршрутах, по которым ходили критские корабли. Я уже приводил аргументы в этом смысле в другом месте, выдвигая предположение, что греческая колониальная империя (которая началась с Ионии) возникла в попытке восстановить великую торговую систему, центр которой находился на раннем Крите. Археологи продолжают обнаруживать признаки критского — “минойского” или “микенского” — влияния в тех самых местах, куда пришли греческие колонисты; и похоже, что они пришли потому, что знали дорогу.

Почти все ионические города были морскими, и это в самом полном смысле этого слова. Отношение Милета, например, к Эгейскому морю сформировало характер этого государства не менее эффективно, чем Адриатика сформировала Венецию. Следовательно, чтобы понять Ионию, мы должны подойти к ней с моря. Она рано обнаружила, что это ее стихия. Из гавани Милета, с покрытого красными ракушками пляжа Эритры, с Самоса, с Хиоса, из Фокаи ее корабли ежегодно отправлялись все дальше, стремясь (если мы правы) восстановить старые торговые связи, так долго разорванные вторжениями; восстановить старое и, по возможности, наладить новое. Ионические моряки прославились своим мастерством и отвагой. Не только в Эгейском море, но и в более отдаленных водах вскоре стало обычным делом видеть маленькое деревянное многовесельное суденышко с нарисованным на носу большим глазом (чтобы, конечно, видеть дорогу), легким румянцем на щеках; парус спущен, а гребцы гребут под музыку того, кто играет на флейте. Ее ношей будут (как можно догадаться) вино, оливковое масло и керамика с черным рисунком, а также некоторое количество блестящего хлама, с помощью которого торговцы всегда обманывали туземцев: для вождя - вышитый пояс или шерстяная

(Note 48))..... Достигнув пункта назначения и хорошо поработав, судно оставляло одного или двух членов экипажа с инструкциями собирать и хранить продукты страны до своего возвращения следующей весной. Если все шло хорошо и туземцы внезапно не нападали и не истребляли чужеземных дьяволов в своей среде, склады увеличивались, а вместе с ними и поселенцы, пока, наконец, фабрика не казалась достаточно важной, чтобы пройти торжественную церемонию “основания” (Ойкисмос) и называться “колонией” (Апойкия). Обычно “основание” означало большой приток новых поселенцев, и с этого момента колония начала свое официальное существование. Но, возможно, довольно долгое время назад у нее было нелегкое неофициальное существование. Скорее всего, так оно и было. Эти поселения на морских концах торговых путей имеют незапамятную историю.

Позвольте мне процитировать анекдот из Геродота. Он занят изложением саги об основании Кирены некими людьми с эгейского острова Тера, и в какой-то момент своего повествования он говорит об этих терайцах:

В своих странствиях они пришли на Крит, а именно в город Итанос. Там они встречаются человека, который был продавцом пурпура, по имени Коробиос; который сказал, что его подхватила буря и унесла в Ливию, даже на остров Платея, который является частью Ливии. Этого человека они убедили отправиться с ними в Теру, дав ему денег; и из Теры люди отплыли посмотреть на землю, будучи немногочисленными, как и в первый раз. Но когда Коробий привел их на этот остров Платея, они оставили его там с провизией на определенные месяцы, а сами со всей скоростью отплыли, чтобы сообщить об острове терайцам. Теперь, когда они не вернулись в оговоренное время, Коробиос остался ни с чем. Но затем самосский корабль, направлявшийся в Египет, причалил к этой Платее; и когда капитан корабля, которого звали Колайос, и другие самосцы услышали всю историю от Коробиоса, они оставили ему еды на год, а сами отплыли с острова, горя желанием попасть в Египет. Однако ветер с востока сбил их с пути. И, пройдя через Геракловы столпы, они прибыли в Тартессос, ветер не переставал дуть. Таким образом, они чудесным образом оказались на этом рынке, который в то время был нетронут, так что эти люди получили самую большую прибыль от продажи товаров из всех греков, о которых мы, несомненно, знаем.

Было бы легко написать длинный комментарий к этой истории. Я мог бы предложить читателю разделить мое восхищение искусством, которое позволяет увидеть так много в столь малом. Вы видите одинокого человека на его необитаемом острове из песка и кустарника, без товарищей, кроме диких коз (если козы там были) и морских птиц, ловящих рыбу среди прибой. Вы представляете себе его отчаяние, когда он наблюдает, как его запасы провизии подходят к концу, а от возвращающихся товарищей по кораблю нет и следа; его экстравагантную радость, когда он видит греческое судно; изумление незнакомцев при виде этого Крузо; его неистовое желание рассказать им “всю историю”; уход самосцев и запоздалое появление терайцев; лицо Коробиоса, когда он спускается им навстречу, думая о том, что он скажет. Но на чем я хотел бы остановиться более конкретно, так это на значении этой истории для истории. Желая узнать, что (Примечание 50)они могут узнать о коммерческих возможностях Киренаики, ферейцы приезжают на Крит, и не только на Крит, но и в ту его часть, где в восточном углу лонг-айленда все еще жили остатки этеокретян, то есть “чистокровных критян”, потомков “минойских” критян, которые были такими известными торговцами и мореплавателями. Итанос, где жил Коробиос, был этеокретанским городом. Здесь были проведены раскопки, в ходе которых были

обнаружены материальные свидетельства “минойской” культуры. О том, что корабли Миноса посещали Киренаику, догадался бы любой, взглянув на карту. Этнографы и археологи приводят собственные аргументы, указывающие на тот же вывод. Там, где позже вырос греческий город Кирена, заканчивался караванный путь неизвестной древности из оазиса Сива в Средиземное море. Разве минойцы не вели там торговлю задолго до того, как она была воссоздана как “колония” тераев? Разве не могли какие-то сведения об этом африканском рынке и морском пути туда сохраниться у разоренных и преследуемых этеокретян?

В рассказе Геродота Корбиос, по-видимому, знает только Платею, и то лишь случайно. Этот этеокретянин, должно быть, был бесконечно удивлен, когда самосцы так вовремя пришли к нему на помощь на острове, который он “открыл”. Предполагается, что Платея - это маленький остров Бомба, который дал свое название заливу Бомба. Терайцы побыли в Платее всего два года. Затем, побуждаемые нуждой и Дельфийским Оракулом, они высадились в одном теле на материке напротив острова. Это было красивое место под названием Азирис, окруженное лесистыми холмами и омываемое рекой. Здесь они прожили шесть лет. Затем, наконец, под руководством дружественных ливийцев — разве эти (Примечание 51) “товарищеские матчи” не являются несколько значимыми? — они продвинулись к месту, которое стало известно как город Кирена. Коробиос выпал из истории, и все дело выглядит как некое “мирное проникновение” в неизвестную страну. Именно такое впечатление хотел передать Геродот. Но это ошибочное впечатление, поскольку кто-то действительно много знал о Киренаике. Дельфийский бог знал. Именно он всегда побуждает сопротивляющихся терайцев переходить от этапа к этапу их продвижения. Геродот, возможно, не столько из благочестивых, сколько из художественных побуждений, подчеркивает контраст божественного предвидения с робким невежеством людей; это делает все более драматичным. Но нам не нужно позволять навязывать себя. Вместо бога мы заменяем его служителей. Жрецы в Дельфах располагали некоторой предварительной информацией о ливийском побережье. Они взяли за правило собирать такую информацию. Откуда они получили эту конкретную часть знаний, мы не знаем; но старый гомеровский гимн повествует о том, как в древние времена корабль отплыл с Крита, чтобы установить оракула в Дельфах.

Но мы еще не исчерпали интерес к этому короткому отрывку из Геродота. Наши мысли путешествуют с теми самосцами, которые, направляясь в Египет, были унесены встречными ветрами все дальше и дальше на запад, пока, наконец, не миновали Гибралтарский пролив и не нашли великолепный новый рынок в Тартессосе, совсем рядом. Ученые обычно считали, что Тартессос - это Фарсис, с которым, как мы читаем в Ветхом Завете, тирский царь Хирам обменивался товарами; но сейчас в этом есть некоторые сомнения. Тартессос стоял на острове в (Примечание 52) устье Гвадалквивира и, несомненно, был известен финикийцам еще до того, как туда добрались самойцы. Несомненно, именно об этом думает Арнольд в конце того длинного сравнения, которым завершается “Ученый цыган”, когда он рассказывает, как финикийский торговец, миновав Атлантический пролив, достигает места, где *сквозь пену пены, робкие торговцы, приходят смуглые иберы*. Открытие Атлантического океана произвело глубокое впечатление на греческий разум. Благочестивые и консервативные умы, подобные Пиндару, считали греховным выходить за пределы проливов; и действительно, прошло много времени, прежде чем кто-либо отважился зайти далеко, потому что, во-первых, суда того типа, которые подходили для безливного Средиземноморья, не могли так хорошо переносить

различные условия океана. Во-вторых, финикийцы получили монополию на британскую торговлю.

Мы не знаем, как самойцы потеряли рынок Тартессоса, но в более поздние времена мы находим владение их соотечественников, фокайцев. Эта привилегия была результатом дружелюбия Аргантония, короля тартессий, который правил восемьдесят лет и дожил “до ста двадцати”. Фокейцы, возможно, заслужили свою удачу, поскольку они были самыми отважными из всех ионических мореплавателей. Некоторые из их приключений, несомненно, станут предметом хорошего чтения. Фокейцы также привлекают нас тем, что из всех ионийцев они больше всего любили свою свободу. Когда Гарпаг, военачальник Кира, осадил их, они, вместо того чтобы жить даже в номинальном подчинении персам, спустили на воду свои знаменитые пятидесятивесельные корабли и, погрузив на них своих жен, детей и мебель, отплыли на Хиос. Однако чианцы ничем не могли им помочь, поэтому они решили ([Примечание 53](#)) отправиться и поселиться на далекой Корсике. Но сначала они внезапно напали на их город и перебили персидский гарнизон, который его оккупировал. *Затем, когда они это сделали, они произнесли сильные проклятия в адрес любого, кто останется позади из их отряда. И помимо проклятий они утопили также кусок железа и поклялись, что не вернутся в Фокайю, пока этот кусок снова не всплывет на свет. Но когда они отправлялись на Корсику, более половины жителей города были охвачены тоской и жалостью к своему городу и знакомым местам страны, нарушили свою клятву и отплыли обратно в Фокайю.* Остатки достигли Корсики, где они прожили пять лет. Затем они вступили в катастрофическое сражение вничью с флотом этрусков и карфагенян. Они снова взяли на борт своих жен, детей и имущество и отплыли, на этот раз в Реджио, откуда снова отправились в путь и “основали тот город в энотрийской земле, который теперь называется Гиеле”, более известный как Элея, немного южнее Пестума.

Полвека спустя, когда ионийцы восстали против персидского владычества, они выбрали своим адмиралом фокейца по имени Дионисий. Позже они пожалели о своем выборе, посчитав Дионисия слишком большим сторонником дисциплины, и больше не желали подчиняться его приказам. Среди них вспыхнуло разобщение, и они потерпели полное поражение в битве при Ладе. Что сделал Дионисий? Он захватил три вражеских судна, а затем, чтобы ускользнуть от преследования, отплыл в Левант, где потопил несколько торговых судов и собрал огромные сокровища. Затем он направился на Сицилию, где “устроился пиратом”, конечно, щадя греческие корабли, ([Примечание 54](#)) но нападая на этрусков и карфагенян. Я полагаю, что это было пиратством, но, по крайней мере, это было похоже на Дрейка, а не на капитана Кидда. Мы можем надеяться, что он хорошо кончил.

Был современник Дионисия, который является еще более значимой фигурой для нашего понимания эллинизма. Это Демокедес из Кротона. Политическая подоплека истории Демокеда, изложенной Геродотом, не совсем согласуется с остальной частью его истории, поскольку она подразумевает политику по отношению к Греции, которую Персия приняла лишь позже. Но в остальном нет причин сомневаться, что все происходило именно так, как говорит Геродот. Демокедес родился в Кротоне на крайнем юге Италии. Это город, известный в истории медицины. Мы не знаем, как там возникла медицинская школа. Самый ранний, по-видимому, был обнаружен на эгейском острове Кос в связи с поклонением Асклепию (Эскулапу), Богу Исцеления. Были ли у врачей Кротона независимые традиции или нет, они вскоре прославились. Первое громкое имя - Демокедес. О том, что у него был учитель, мы знаем из его

слов Дариусу, но он не упомянул имени своего учителя. Дело в том, что Демокедес был первым врачом, чья личность отказалась сливаться с гильдией, к которой он, несомненно, принадлежал. На Косе гильдия была настолько могущественной (там она носила полурелигиозный характер), что только во время Пелопоннесской войны мир услышал личное имя одного из ее членов — Гиппократ. Таким образом, Демокедес соответствует Архилоху. Я собираюсь снова рассказать историю гениального человека.

В Кротоне он постоянно ссорился со своим отцом, (Примечание 55) у которого был вспыльчивый характер. Когда он больше не мог его выносить, он оставил его и отправился на Эгину. Обосновавшись там, он в первый же год работы доказал свое превосходство над всеми другими врачами, хотя у него не было снаряжения и ни одного из инструментов своего искусства. И на второй год его правления эгинетяне наняли его за талант, выплаченный государством, на третий год афинский народ нанял его за сто фунтов серебра, а на четвертый год Поликрат— тиран Самоса —за два таланта.

Мгновенное признание Демокедеса является не только свидетельством его гениальности, но и свидетельствует о замечательной степени просвещенности современных греческих правительств. Несомненно, большая заслуга принадлежит эгинетянам и афинянам, чем Поликрату, который, очевидно, воспользовался услугами Демокеда при дворе на Самосе. И все же Поликрат тоже был просвещенным. Под его абсолютным правлением или “тиранией”, что является греческим техническим термином, ионический остров Самос стал самым великолепным государством в Греции. *Не считая тех, кто стал тиранами сиракузян, нет ни одного из всех других греческих тиранов, кто мог бы сравниться с Поликратом в великолепии.* Эта позиция была завоевана морской силой. Поликрат - первый из известных нам греков, кто стремился к Талассократии (господству на море) , за исключением Миноса Кносского и всех остальных, кто получил господство на море до Миноса— интересное замечание в свете теории о том, что ионийцы определенно стремились воссоздать морскую империю доисторического Крита. Этот блистательный тиран в конце концов потерпел такой странный и полный поворот судьбы, что он стал вошедшим в поговорку примером руки Божьей в человеческих делах. Персидский вельможа Оройт заманил его на Азиатский континент напротив своего острова, там предательски схватил и с безымянными пытками предал смерти. Его окружение стало рабами Ороита. Одним из них был Демокедес.

Несколько лет спустя царь Дарий, который к тому времени унаследовал трон, был сброшен с лошади во время охоты и вывихнул лодыжку. Он доверил свою рану придворным врачам в Сузах, которые были египтянами, поскольку Египет был родиной очень древнего свода медицинских знаний, передававшихся от отца к сыну. Но египетские врачи , выворачивая и надавливая на ногу, усугубили зло. В течение семи дней и семи ночей Дарием владела бессонница из-за одолевавшей его болезни, но на восьмой день, когда царь был в тяжелом состоянии, тот, кто получил известие в Сардисе, прежде чем он прибыл в Сузы, о мастерстве Демокеда из Кротона, доложил Дарию; и он приказал, чтобы его доставили к нему как можно скорее. И когда они обнаружили его среди рабов Оройтеса в каком-нибудь заброшенном уголке, они привели его сюда, волоча за собой кандалы и одетого в лохмотья. И когда он стоял там, Дарий спросил его, понимает ли он это искусство; но он не захотел признаться в этом, боясь, что, если он раскроет себя, то совсем потеряет Элладу. Но Дарий ясно понял, что тот понимает это искусство, но притворяется, и он приказал людям, которые привели его, достать уколы и палки. Тогда Демокедес действительно

обнаруживает себя, говоря, что у него не было точных знаний в этом вопросе, но, будучи учеником пиявки, он был слабо знаком с этим навыком. Впоследствии, когда он доверился ему, используя греческие средства и применяя легкие методы лечения после перенесенного насилия, он заставил его уснуть и за короткое время вернул ему крепкое здоровье, которое больше не позволяло надеяться на то, что его нога снова будет целой. После этого в качестве подарка Дарий дарует ему две пары золотых оков; но Демокедес спросил его, не удвоил ли он таким образом свои несчастья ради подарка только потому, что он исцелил его. Дарий был доволен этой речью и отослал его к своим женам. И евнухи, которые привели его туда, сказали женщинам, что это тот человек, который вернул свою жизнь царю. И каждый из них, опустив чашу в сундук с золотом, преподнес Демокедесу такой богатый подарок, что его слуга, которого звали Скитон, следуя за ним, собрал выпавшие из чаш вельможи, и у него накопилось много золота.

Затем Демокед, исцеливший Дария, получил очень большой дом в Сузах, и сидел за столом с царем, и у него было все остальное, кроме одного, а именно его возвращения к грекам. И египетских врачей, которые раньше ухаживали за царем, когда их собирались посадить на кол за то, что они были побеждены греческим врачом, он спас своими молитвами царю, а также спас пророка Элиды, который последовал за Поликратом и был забыт среди рабов. А Демокедес был очень важным человеком у короля.

Геродот настолько интересен, что перебивать его почти непростительно; но эссеист должен учиться краткости. Поэтому я в основном резюмирую то, что последует дальше, позволив себе лишь одно замечание (которое, вероятно, уже пришло в голову моему читателю) о том, что, конечно, история прошла через народное воображение и что историк должен восхищаться не столько капризом судьбы, сколько гением неукротимой личности.

Вскоре после несчастного случая с Дарием у его царицы Атоссы открылась язва на груди. Атосса была невыразимо великой женщиной. Она была дочерью Кира Великого, основателя Персидской империи. Она была женой сына и преемника Кира, своего брата Камбиза. Теперь она была женой Дария и матерью Ксеркса. Сам Дариус, вполне возможно, испытывал перед ней некоторый трепет. Она пережила его, если мы можем верить Эсхилу, который ввел ее в свою пьесу о *Персах*, произнося великолепные величественные стенания по поводу крушения персидского дела в Элладе и вызывая из своей царской гробницы призрак “бога” Дария. Такова была полубожественная женщина, которая должна была помочь Демокедесу вернуться в Грецию, по которой он испытывал такую глубокую ностальгию. Одно прикосновение Геродота делает ее такой же реальной, как любого пациента, которого вы видели в больнице. *Пока это было сравнительно мало, она скрывала это и, стыдясь этого, никому не говорила, но когда она серьезно заболела, она послала за Демокедесом.* Он вылечил ее, взяв с нее обещание, которое она выполнила следующим образом. Она убедила Дария спланировать экспедицию против Греции и, в качестве содействия этому, послать Демокеду составить отчет о его родной стране. Затем царь вызвал пятнадцать отличившихся персов и поручил им сопровождать Демокеду в предполагаемом путешествии вдоль берегов Эллады в поисках разведанных, приказав им ни под каким-либо образом не позволить Демокеду сбежать. Затем он послал за своим целителем и объяснил характер работы, на которую намеревался его назначить. Он велел Демокедесу взять с собой все свое движимое имущество в качестве подарков отцу и братьям, пообещав многократно вознаградить его. Демокедес отклонил это предложение, чтобы не выдать себя слишком явным рвением. Он действительно принял в дар торговое судно,

груженное “товарами всякого рода” для своих “братьев” - и, как мы можем надеяться, также для своего отца, этого вспыльчивого старика.

Экспедиция сначала отправилась в Сидон, где снарядила две триеры и торговое судно, груженное всевозможными товарами, а затем отплыла в Грецию. Они останавливались в различных точках побережья, разглядывая землю и записывая рассказ о том, что казалось наиболее примечательным. Таким образом, они, наконец, прибыли в Тарент в Италии. Там Демокедес вступил в контакт с Аристофилидом, которого Геродот называет “царем” тарентинцев. Аристофилид снял рулевое устройство с иностранных кораблей, которое препятствовало их плаванию, и заключил команду в тюрьму как шпионов; в то время как Демокедес воспользовался их затруднительным положением, чтобы сбежать в свой родной Кротон. Затем Аристофилид отпустил персов и вернул им рули. Они немедленно отправились в погоню за своим пленником и нашли его в Кротоне, “привлекающим внимание Агоры”, которая была центром греческой городской жизни. Там они *попытались наложить на него руки. И некоторые из жителей Кротона, опасаясь могущества Персии, хотели выдать его, но другие, со своей стороны, удержали его и начали избивать персов их посохами; которые заявили о себе такими словами, как эти: “Вы, жители Кротона, подумайте о том, что вы делаете; вы забираете у нас человека, который является беглым рабом короля. Как же тогда царь Дарий удовлетворится этим оскорблением? И как твои деяния послужат тебе на пользу, если ты прогонишь нас? Против какого города мы выступим перед этим, и какой город мы попытаемся поработить перед вашим?”* Так говорили они, но на самом деле они не убедили жителей Кротона, а вырвали Демокеду из их рук, а торговое судно, которое они привели с собой, отобрали у них и так отплыли обратно в Азию; они также не искали никаких дальнейших сведений о Греции, хотя это и было целью их прихода; ибо они потеряли своего проводника. Теперь, когда они отправлялись в путь, Демокед поручил им передать только это, приказав им сказать Дарию: “Демокед женат на дочери Мило”. Ибо имя Милоторца было на большом счету у короля. Я думаю, что Демокедес поторопился с этим браком, заплатив большую сумму, чтобы Дарий мог ясно увидеть, что и в его собственной стране Демокедес был великим человеком.

Объяснение Геродота убедительно. Демокедес страдал от подавленного эгоизма. В Персии у него было богатство и уважение, но он не мог дышать ее духовной атмосферой. Приятно думать, что при дворе Сузы он, возможно, сожалел о своем отце. Для эллинского сознания главным проклятием варварства было то, что оно поглощает личность. Как человек может владеть своей душой в стране, где рабство всех, кроме Одного, считается естественным положением вещей? Итак, в Древней Греции превыше всего считалась личность; свобода была чисто внешним делом, если только она не означала освобождения духа, развития (как выражается наш жаргон) личности, хотя это развитие наиболее эффективно реализовывалось на службе государству. Греческая история полна блестящих особенностей — Демокедес один из них, которого мы можем теперь оставить торжествующим у себя дома ([Примечание 61](#)) в его пылающем персидском одеянии, “привлекающем внимание Агоры” своей удивительной историей.

Было бы слишком странным упущением ничего не сказать о том, что до грандиозного похода Александра было самым известным из всех греческих приключений среди варваров; я имею в виду то, что пережил и описал Ксенофонт Афинский. И снова мы становимся свидетелями триумфа личности, хотя это не главное в отступлении Десяти тысяч. Важно торжество

греческого характера в отряде негодяев-наемников. Личность молодого джентльмена, который приобрел у них такой большой авторитет, нашла свою возможность в кризисе среди невежественных людей, но она так и не стала великой. До последнего она была на удивление незрелой. Возможно, было бы более удачной метафорой сказать о Ксенофонте то, что кто—то сказал о Питте: “Он не вырос, он был брошен”. Его естественные вкусы во многом совпадали с вкусами более щедрого и несравненно более великого человека, сэра Вальтера Скотта. Это были вкусы сельского джентльмена, любящего литературу и историю, особенно с привкусом романтики. *Киропедия* - это ложный рассвет Исторического романа. И Ксенофонт, и сэр Уолтер хотели, вероятно, больше всего на свете, быть солдатами. Но Ксенофонт хотел быть слишком многим. Перед его мысленным взором постоянно проплывал образ “Архитического Человека” — идеального Правителя, — который долгое время занимал мысли греческих философов, и, возможно, не кого иного, как Сократа, учеником которого называл себя Ксенофонт. Кажется, однажды его осенило: а не может ли он, Ксенофонт, быть Архиепископом? Возможно, он сформулировал мысль не так точно, потому что она из тех, в которых даже юность не всегда признается себе; но мысль была там. Это была его иллюзия. Он был рожден не для того, чтобы командовать, он был рожден, чтобы писать. Он не доминировал, он всегда был более или менее под влиянием кого—то другого - Сократа, Кира, Агесилая. Он был невероятно плохим знатоком людей и хода дел. Но дайте ему в руки перо, и вы получите если не одного из великих мастеров, то все же мастера в своей определенной яркой манере.

Возможно, он был немногим старше мальчика, когда судьба послала ему это ни с чем не сравнимое приключение. Персидский царь умер, оставив двух сыновей, своего наследника Артаксеркса и Кира, любимца их ужасной матери, вдовствующей царицы Парисатиды. Младший сын начал тайно собирать и мобилизовывать армию в Малой Азии, где ему были делегированы полномочия, намереваясь выступить без объявления войны против Артаксеркса. Ксенофонт был представлен Киру Проксеном из Беотии, который действительно побудил его посетить Сарды. Проксен, говорит его друг, *считал достаточным для того, чтобы быть Архаичным Человеком и чтобы его считали Архаичным Человеком, хвалить того, кто поступил хорошо, и воздерживаться от восхваления правонарушителя. Следовательно, он нравился милым людям из тех, кто вступал с ним в контакт, но он страдал от замыслов недобросовестных людей, которые считали, что могут делать с ним все, что им заблагорассудится.* Ксенофонт, по-видимому, сразу же попал под чары Кира, который, несомненно, производит впечатление гениального человека и который, как потомок Ахеменидов, в любом случае вызвал бы у него примерно то же чувство, что бурбон у сэра Вальтера Скотта. В армии вторжения был большой отряд (Примечание 63) греческих солдат-наемников, в основном с Пелопоннеса, под командованием сурового спартанского *кондотьера* по имени Клеархос. Ксенофонт присоединился к этим силам в качестве добровольца. В то время он верил, как и Проксен, который был одним из “генералов” (*стратегов*), да и вообще все, кроме Клеархоса, который был посвящен в тайну, что экспедиция готовилась против писидийцев, горных племен, наслаждавшихся разбоем. Только после того, как армия миновала “Киликийские ворота” Тавра и достигла Тарса, греческие войска обнаружили подтверждение своих растущих подозрений в том, что их направляют против царя. Они запротестовали и отказались идти дальше. Их недовольство удалось унять с трудом, но ясно, что Ксенофонт уже принял решение. Он пошел с остальными. Они миновали “Сирийские ворота” хребта под названием Аманус и двинулись через пустыню. Достигнув Евфрата, они последовали по реке в “Вавилонию”, которую мы называем Месопотамией, до Кунаксы, региона, где два великих

потока начинают снова разливаться после того, как они так близко подошли к Багдаду. В Кунаксе Великий царь встретил их с огромной армией. Последовало огромное беспорядочное сражение, в котором греки очень легко разогнали все, что им встречалось, — но Кир был убит.

Что им оставалось делать? Вся цель кампании — посадить Кира на трон - исчезла. Им было ясно, что они не могут полагаться на варваров, которые прошли с ними две тысячи миль от Сард. Ничего не оставалось, как отступить. Но отступать тем путем, которым они пришли, было уже невозможно, поскольку они поглотили всю страну. Оставалось следовать вдоль линии Тигра вверх по Армении и таким образом пересечь — зимой — это дикое плато в надежде добраться, наконец, до Трапезунда, там, на Эвксинском полуострове, за все эти лиги отсюда.

И они отправились в путь. Первым требованием их плана было пересечь Вавилонию до Тигра. Разбив свой лагерь на рассвете, они были встревожены днем видом лошадей, которых сначала приняли за персидскую кавалерию, но вскоре обнаружили, что это были вьючные животные, пасущиеся на траве. Это само по себе было удивительно — казалось, королевский лагерь должен быть где-то рядом. Они продолжили свое наступление, и на закате авангард вошел в город и разместился в нескольких заброшенных и разграбленных хижинах, в то время как остальная часть армии, с громкими криками в темноте, нашла такое жилье снаружи, какое смогла. Это была ночь паники. В лагере поднялся необъяснимый шум, который Клеархос успокоил, объявив награду за информацию против “человека, который выпустил осла”. Враг, появившийся утром, тоже нервничал. По крайней мере, он исчез из окрестностей. Более того, теперь появились герольды, предлагавшие королю перемирие. Предложение было принято под обещание, что греческая армия будет обеспечена продовольствием. Итак, войско снова двинулось в путь под руководством королевских гонцов по стране, сплошь пересеченной ирригационными канавами, которые для этого времени года выглядели подозрительно полными воды. Однако вскоре они достигли нескольких деревень, полных еды и питья. Там были финики ... “похожие на янтарь”, - вспоминает Ксенофонт. (В то утро он не завтракал.) Здесь жеони попробовали “пальмовый мозг” — “капусту” — вкусную, но от нее у них разболелась голова.

В этих прекрасных деревнях они оставались три дня и продолжали переговоры с Тиссаферном, тонким представителем царя. В результате бесед они снова двинулись дальше под руководством сатрапа до высокой “Стены Мидии”, которая пересекала землю по диагонали в направлении Вавилона и имела двадцать футов в ширину, сто футов в высоту и двадцать лиг в длину. От Стены они прошли маршем от двадцати до тридцати миль, пересекая каналы и рвы, пока не достигли Тигра у Ситтаке, где разбили лагерь в “раю”, полном деревьев. У моста Ситтаке пересекались дороги в Лидию и Армению, в Сузы и Экбатану (Хамадан). На следующее утро греки переправились без сопротивления и продвинулись до значительной речки, пересеченной по мосту в “Описе”, близ густонаселенного центра которой они обнаружили, что за ними наблюдают большие силы азиатов. После этого Клеархос повел своих людей колонной по два в ряд, то маршируя, то останавливая их. Каждый раз, когда авангард останавливался, приказ остановиться эхом разносился по линии и едва затихал вдали, как наступление возобновлялось; *так что даже самим грекам армия казалась огромной, в то время как персы, наблюдавшие за этим, были поражены.*

Теперь они находились в “Мидии” — на самом деле Ассирии - стране, совсем не похожей на “Эдемский сад”, который они покинули по другую сторону Тигра. Они шли и шли и, наконец,

достигли скопления жилищ, называемых “Деревнями Парисати”. Затем еще двадцать лиг до города Кайнай и слияния Тигра с Большим Забом, на берегу которого они отдыхали три дня. Все это время враг, хотя и не атаковал, настороженным облаком следовал за ним. Поэтому Клеархос попросил встречи с Тиссаферном, чтобы выяснить его намерения. Сатрап ответил с восточной вежливостью и пригласил на беседу в свою штаб-квартиру Клеархоса и других военачальников, а именно Проксена, Менона, Агия и Сократа Ахейского. С серьезными опасениями, полагаясь на веру варвара, они вошли в персидский лагерь. Там они были немедленно арестованы. Офицеры, сопровождавшие генералов, были убиты, и персидская кавалерия галопом пронеслась по равнине, убивая каждого грека, которого могла найти. Эллина из своего лагеря могли разглядеть, что в том далеком облаке конницы происходит что-то необычное, но что это было, они так и не догадались, пока не появился Никарх Аркадянин, прижимая руки к огромной ране в животе и держась за внутренности. Он рассказал им свою историю; они побежали вооружаться. Однако враг не наступал. Тем временем генералов послали к королю, который приказал обезглавить их.

Что касается людей без предводителя, мало кто из них в тот вечер попробовал пищу, лишь немногие развели огонь, многие вообще не потрудились вернуться в свои жилища, а улеглись там, где каждый случайно оказался, не в силах сомкнуть глаз от горя и тоски по родному городу, и отцу, и матери, и жене, и ребенку. Ксенофонт наконец удалось немного поспать, и во сне ему приснилось, что в дом его отца ударила молния и он загорелся. Сон был настолько ярким, что он проснулся и начал размышлять, что бы это могло означать. Его возбужденное воображение оживило (Примечание 67) в еще более ярких красках ужасы ситуации. Здесь была сцена, подготовленная для трогательной сцены. Где был герой? Где был Архаичный Человек? Наконец-то появилась возможность, о которой он молился. В ту ночь в Ксенофонте вспыхнуло пламя решимости, которое, пока длилось, действительно поддерживало на героическом уровне дух, втайне сомневавшийся в себе. Это было ощущение драмы, действующее на артистический темперамент; и, конечно, эта армия, будучи греческой, приняла чудо и, естественно, взяла на себя его роль. Джентльмен-ранкер проявил наполеоновскую энергию и произносил красноречивые речи (для которых он очень тщательно одевался), в результате чего его выбрали одним из новых генералов. Фактически, с этого момента он стал ведущим духом, и ему была поручена самая трудная задача — командование арьергардом при отступлении с боями. Он совершал ошибки; он не был Наполеоном. Но выдающийся французский офицер, написавший лучшую военную историю Отступления, высоко оценивает его понимание принципов ведения войны, которым, по мнению генерала Буше, он научился у Сократа. Возможно, вы не думали о Сократе как об авторитете в военном искусстве?

На следующее утро они пересекли Заб — был сухой сезон, — но не успели далеко продвинуться по другому берегу, как их настиг небольшой отряд всадников, лучников и пращников под командованием некоего Митрадата. Они приближались в кажущейся дружелюбной манере, пока не оказались совсем рядом, когда все сразу начали пускать в ход свои луки и пращи. Греческая армия, маршировавшая пустым квадратом, не могла нанести ответный удар. В результате атаки не удалось захватить в плен ни одного человека, противник отступил перед атакой и стрелял на ходу, в соответствии с “парфянской” тактикой, которой суждено было прославиться во времена Римской империи. В тот день греки преодолели немногим более трех миль. Очевидно, что с этим нужно что-то делать. Ксенофонт обнаружил, что в армии было несколько родосцев, которые могли метать свинцовые пули в два раза дальше, чем персы могли метать свои камни, которые были “размером с ваш кулак”. Затем эти родосцы были

сформированы за ночь в особый корпус и проинструктированы относительно их задачи. На следующий день войско выступило раньше обычного, поскольку им предстояло пересечь ущелье, где атака была бы особенно опасной. Когда они отъехали примерно на милю, Митрадат двинулся вслед за ними с тысячей всадников и четырьмя тысячами лучников и пращников. Не успел он приблизиться на расстояние выстрела, как прозвенел горн, и спецназовцы бросились на ближний бой. Враг не стал дожидаться атаки, а побежал обратно в ущелье, преследуемый небольшим отрядом всадников, для которых Ксенофонт каким-то образом раздобыл лошадей. Это была блестящая маленькая победа, запятнанная позором некоторых, кто калечил мертвых — вещь настолько поразительно негреческая, что я не могу вспомнить другого исторического примера. И здесь то, что было сделано, не было сделано хладнокровно.

Вечером того же дня они прибыли в большой пустынный город, название которому было Ларисса. Великий город; он был окружен стеной длиной в две лиги, толщиной в двадцать пять футов и высотой в сто футов. Совсем рядом находилась каменная пирамида высотой в двести футов, где греки нашли множество беглецов, нашедших там убежище из соседних деревень. Их следующий марш привел их к другой большой пустой крепости, называемой Меспила, напротив того места, которое ([Примечание 69](#)), которое мы теперь называем Мосулом. Где-то в этом районе Лариссы и Мосула в древности стоял огромный город Ниневия, столица Ассирии; и весь этот район (как можно заключить из Ксенофонта) был полон смутных легенд о сокрушительном бедствии. Солдаты маршировали по могиле империи. Даже фрагменты были впечатляющими. Меспила была основана на чем-то вроде кольца шириной пятьдесят футов и высотой пятьдесят футов, полностью построенного из полированного камня, “набитого ракушками”; и на этом фундаменте возвышалась кирпичная стена шириной пятьдесят футов и высотой четыреста, а в окружности шесть лиг.

За Меспилой Тиссаферн снова атаковал, как показалось, очень большими силами. Но его легковооруженные войска не могли противостоять родосским пращникам и критским лучникам, каждый выстрел которых отражался в плотном строю противника, который отступал в замешательстве. Греческая армия теперь приближалась к горам, которые они уже давно видели возвышающимися на горизонте. Генералам показалось, что “полый квадрат” должен быть заменен новым строем, более подходящим для узких путей, по которым они вскоре пойдут, и теперь они это придумали. Отныне они должны были успешно использовать его.

Они увидели “дворец, окруженный деревьями”. Путь к нему, как они с радостью заметили, вел через ряд холмов, где (как они думали) персидская кавалерия не могла напасть на них. Их радость была недолгой, ибо как только легковооруженные войска, составлявшие греческий арьергард, начали покидать вершину первой высоты, враг бросился за ними вдогонку и начал осыпать их дротиками, стрелами и камнями из пращей, и таким образом вывел их из строя на тот день. Тяжеловооруженные сделали все возможное. Но они, естественно, не смогли обогнать стрелков, и армии пришлось нелегко, пока не была разработана специальная тактика, которая отвечала их целям. Холмы, которые так плохо послужили им, были предгорьями более высокой гряды высот, идущей параллельно дороге. Был послан достаточный отряд для занятия высот и продвижения вдоль них одновременно с основными силами, наступавшими по дороге. Опасаясь оказаться зажатыми между двумя силами, персы не атаковали. Это было первое применение маневра, который греки повторяли много раз и всегда с успехом.

Оказалось, что дворец и деревни полны хлеба, вина и фуража, собранных сатрапом региона. Итак, греки остановились там на три дня, давая отдых своим раненым. На четвертый день они снова отправились в путь, но были настигнуты неумолимым Тиссаферном и, наученные опытом, направились к ближайшей деревне, где очень легко отбили его атаку. В ту ночь они воспользовались невоенной практикой персов никогда не разбивать лагерь менее чем в семи милях от врага, чтобы незаметно напасть на него. В результате на следующий день, и еще через день, и еще через день после этого они беспрепятственно продолжили свой путь. На четвертый день они добрались до места, где Захо-Даг, который они так долго держали справа от себя, спускается отрогом к реке, над которой он круто нависает высоким утесом, живописно увенчанным сегодня местной деревней. Поскольку Тигр по-прежнему неприступен, дорога вынуждена карабкаться по обрыву. Хирисофос, командовавший авангардом, остановился и послал сообщение Ксенофону, который командовал арьергардом. Это было крайне неудобно для Ксенофонта, (Примечание 71) потому что в этот самый момент кто должен был появиться на дороге позади него, кроме Тиссаферна? Однако Ксенофонт поскакал вперед и потребовал объяснений. Хирисофос указал на утес, и там, несомненно, находились вооруженные люди. Между ними и Тиссаферном армия оказалась в опасном положении. Что делать? Ксенофонт, посмотрев вверх на стену Заходага, заметил, что основная высота в этой части хребта находится прямо напротив них; посмотрев еще раз, он смог разглядеть тропу, ведущую от этой вершины к утесу. Он немедленно предложил захватить вершину. Были спешно собраны отборные силы, и они начали восхождение. Как только люди на утесе заметили их, они тоже бросились бежать к ключевой позиции. С криками обе стороны устремились к воротам. Ксенофонт ехал рядом со своими людьми, подбадривая их. Ворчливый парень из Сикиона пожаловался, что ему приходилось бегать со щитом, в то время как полководец ехал верхом. Ксенофонт спешил, вытолкнул этого человека из рядов, отобрал у него щит и с трудом занял его место. Воодушевленные таким образом, греки — люди, для которых горы были родными, — первыми достигли вершины. Но это было недалеко.

Таким образом, перевал был свернут. Но ситуация оставалась не менее ужасной. Справа от армии возвышались суровые горы Курдистана; слева от них быстро протекал полноводный Тигр. Солдат с Родоса предложил пересечь ручей на приспособлении из надутых шкур, вроде тех, что, по-видимому, до сих пор используются на Тигре, где это называется “теллек”. Это предложение было невыполнимо перед лицом врага, который был обнаружен во владении противоположным банком. Поэтому они неохотно повернулись спиной к реке и сосредоточили свои мысли на горах. Под покровом темноты они крадучись пересекли равнину и с рассветом оказались на возвышенности. Теперь они находились в стране кардушцев, которых мы теперь называем курдами, в запутанных долинах и пугающих ущельях которых были потеряны целые армии. При появлении греков местные жители бежали со своими женами и детьми из своих деревень и “укрылись в вереске”. Захватчики реквизировали найденные припасы, но предприняли некоторые усилия, чтобы умиротворить горцев. Те по-прежнему угрюмо не реагировали. Весь день они наблюдали, как десять тысяч легковооруженных гоплитов и женщин из лагеря пробиваются через высокий перевал. Затем, когда последние люди спускались в сгущающейся темноте, кардушцы зашевелились. Полетели камни и стрелы, и несколько греков были убиты. К счастью для армии, враг был застигнут врасплох настолько, что на дороге с крутыми стенами не было предпринято никакой согласованной атаки. Как бы то ни было, хотя в ту ночь они разбили лагерь без дальнейших неприятностей, они могли видеть, как на каждой вершине горят сигнальные костры, предвещая плохое на завтра.

Когда это пришло, они решили оставить позади всех заключенных и все, что могли, из обоза. Освобожденные таким образом, они двинулись вперед в штормовую погоду и под постоянными обстрелами, так что прогресс был невелик. Наконец, они пришли к полной остановке. Перед ними возвышался отвесный склон горы, на который, как было видно, взбиралась дорога, черная от их врагов. О лобовой атаке не стоило и думать. Но разве не было никакого пути через высоты? Захваченный курд признался, что был. Только в одном месте этот путь вел через возвышенность, которую нужно было обезопасить заранее. Поэтому ближе к вечеру штормовой отряд выступил в путь вместе с проводником, им было приказано ночью занять возвышенность, а на рассвете протрубить в горн. Сильный ливень скрыл это движение, успеху которого также способствовало продвижение Хирисофоса по видимой дороге. Вскоре он добрался до ущелья, которое его люди должны были пересечь, чтобы закрепиться на большом утесе. Но когда они попытались прорваться, враг скатил огромные валуны, которые разбились на разлетающиеся осколки о железные стены ущелья, так что переправа была просто невозможна. Тогда попытка не была возобновлена. Но всю ночь греки продолжали слышать грохот падающих камней, посланных неумолимым и подозрительным врагом.

Тем временем штурмовики, ушедшие кружным путем, застали врасплох охрану кардушцев, сидевших у костра, и, разогнав их, удержали позицию, думая, что это “седло” или возвышенность. В этом они ошибались, но на рассвете осознали свою ошибку и выступили в дружественном тумане, чтобы захватить свою истинную цель. Защитники города обратились в бегство, как только греческая труба возвестила об атаке. На дороге внизу Хирисофос услышал звук и бросился на штурм утеса. Его люди карабкались вверх, как могли, поддерживая друг друга копьями. Арьергард под командованием Ксенофонта пошел обходным путем. Они штурмом захватили один гребень, но оказались лицом к лицу с другим. Ксенофонт оставил гарнизон на первом, а с остальными своими силами атаковал и захватил второй — только для того, чтобы обнаружить, что перед ними возвышается третий, фактически являющийся самым возвышением. Он также подвергся нападению. К удивлению греков, враг не оказал сопротивления и сразу же ушел. Вскоре к Ксенофону явился беглец с известием, что гребень, на котором он оставил гарнизон, был взят штурмом, а все его защитники перебиты — все, кто не сбежал, прыгнув с его скалистых склонов. Теперь было ясно, почему кардушцы покинули главное возвышение; они видели со своей большей высоты, что происходило в тылу Ксенофонта. Теперь они вернулись на возвышение лицом к холму и начали обсуждать перемирие, постепенно собирая своих людей. Соглашение было достигнуто, и греки начали спускаться со своих позиций, как вдруг варвары набросились на них, крича и скатывая вслед за ними валуны. Однако теперь без особых затруднений было осуществлено соединение с Хейризофосом.

В общей сложности на то, чтобы пересечь земли кардушцев, ушла неделя, и ни дня не проходило без ожесточенных боев. Каждый узкий проход был запружен свирепыми горцами, которые пускали стрелы длиной в два локтя из луков такой мощи, что лучнику приходилось наступать на свое оружие одной ногой. Один человек был пронзен насквозь щитом, нагрудником и телом, другому прострелили голову. В этих горах греки “пострадали больше, чем все, что они перенесли от рук царя и Тиссаферна”. Пробиваясь вдоль Зоравы, они, наконец, достигли более открытой местности, где эта река впадает в Бохтан Су, которую Ксенофонт называет Кентритес. Увы, в утреннем свете они увидели, что дальний берег окружен вражескими войсками, как пешими, так и конными, в то время как в горах, которые они только что покинули, собрались кардушцы, готовые напасть им в тыл, если они попытаются перейти

Кентритес, глубокую реку, полную больших скользких камней. Хозяин дома снова погрузился в уныние. Но через некоторое время, когда Ксенофонт все еще завтракал, к нему подбежали двое молодых людей с замечательной новостью. Они вдвоем отправились собирать хворост и, спустившись к реке, заметили на другом берегу “среди скал, спускавшихся прямо к воде, старика и женщину, которые складывали в нечто вроде пещеры что-то похожее на мешок с одеждой”. Поэтому солдаты зажали ножи в зубах и приготовились переплыть реку. К своему удивлению, они добрались до другого берега без необходимости плыть. И вот они снова здесь, привезли одежду для доказательства.

Вскоре после этого они вели дивизию Хирисофоса к броду, который они так кстати обнаружили, в то время как Ксенофонт возглавлял арьергард, в обязанности которого входило защищать переправу армии от нападений кардушцев. Они были нанесены должным образом, но были отбиты и ускользнули; и Кентритес был пересечен.

Греки теперь были в Армении. Перед ними простиралось широкое холмистое плато, мрачное, одинокое, жестоко ненастное в это время года; и все же поначалу они находили его похожим на Элизиум после своих мучений среди облаков. Они пересекли два ручья: Битлис Чай, по глубокому руслу которого до сих пор ходят караваны, и Кара Су. Это было в стране сатрапа Тирибаза, который продолжал преследовать захватчиков с армией. Итак, поход продолжался. Однажды ночью они добрались до обычного “дворца, окруженного деревьями”, и там, найдя вдоволь еды и питья, с радостью освежили свою усталость. Было сочтено неосмотрительным расквартировывать мужчин среди деревьев, поэтому они разбили лагерь на открытом месте. Потом пошел снег — мягкий, стойкий снег; и утром ничего не казалось желанным, кроме как оставаться в тепле и дремать под этим белым одеялом. Наконец Ксенофонт вскочил и начал рубить дрова, так что мужчины устыдились и тоже встали, и взяли у него полена, и разожгли костер, и помазали себя местной мазью. Но все были уверены, что еще одна такая ночь приведет их к гибели; поэтому было решено, что они должны найти пристанище в деревьях. Солдаты с радостными криками бросились прочь.

Но отступление должно продолжаться. Они поймали человека, который сказал им, что Тирибазос намеревался напасть на них в высоком ущелье на их дороге. Этот удар они предвидели и, перейдя перевал, шли день за днем по снежной пустыне. В какой-то момент своего ужасного путешествия они по пояс брели вброд по ледяным водам верхнего Евфрата. Снег становился все глубже и глубже. Хуже всего было то, что ветер — северный ветер — дул им в лицо. Снег стал глубиной в шесть футов. Поклажа — скот, рабы, около тридцати самих солдат — исчезла в сугробах. Наконец, по милости богов, ветер немного стих, и они нашли много дров, которые сожгли, расчистив таким образом места в снегу, чтобы можно было спать на земле. Затем они должны были собраться с силами и снова трудиться. Люди начали [\(Примечание 77\)](#) падать в обморок от голода. Ксенофонт дал им полный рот еды; после чего они встали на ноги и, спотыкаясь, побрели вперед вместе с остальными. Все это время банды мародеров рыскали по периметру армии. Если зверь оказывался брошенным, они набрасывались на него, и вскоре вы могли услышать, как они ссорятся из-за туши. Пропадали не только животные, но и время от времени люди выпадали из воды из-за обморожения или снежной слепоты. Однажды целая группа солдат отстала и, увидев темное пятно там, где горячий источник растопил снег, уселась там. Ксенофонт умолял их подняться; волчьи враги преследовали их по пятам. Ничто из того, что он мог сказать, не тронуло их. Затем он вышел из себя. Единственным результатом было усталое предложение мужчин, чтобы он перерезал им глотки. Сгущалась тьма; все ближе и ближе

доносились крики мародеров, спорящих из-за своей добычи. Ксенофонт и его люди спрятались на голом участке, который спускался в каньон, дымящийся парами горячего источника. Когда негодяи приблизились, солдаты с криком вскочили, в то время как измотанные люди завопили во весь голос. Пораженные враги “бросились по снегу в каньон, и больше никто из них не издал ни звука”.

Вскоре после этого греки пришли в несколько деревень, одна из которых была закреплена за Ксенофонтом и его людьми. Она была занята так быстро, что жители не успели спастись бегством. Это была необыкновенная деревня, потому что все дома находились под землей. Вы входили в земляной дом через отверстие, “похожее на устье колодца”, и, спустившись по лестнице, оказывались в прекрасной просторной комнате, которую беспристрастно делили “козы, овцы, коровы и домашняя птица”, а также люди. Там были запасы провизии для животных, а также пшеницы, ячменя и зелени для людей. Было также “ячменное вино”, которое можно было пить через тростинку и которое было “очень приятным напитком для того, кто научился его любить”. Ксенофонт, естественно, жил со старостой деревни, которого он любезно пригласил на ужин за счет дома. Ему удалось успокоить старосту, который был обеспокоен многими вещами, включая поимку его дочери, которая только что вышла замуж. Итак, вино было произведено, и они провели за ним ночь. На следующее утро, проснувшись среди петухов, кур и других существ, Ксенофонт отправился навестить Хирисофоса, взяв с собой старосту. По пути они заглядывали во все дома и в каждом находили разгул. Им пришлось спуститься по лестнице и позавтракать. Ксенофонт забыл, сколько раз он завтракал в то утро, но он помнит баранину, козлятину, свинину, телятину и птицу, не говоря уже о разновидностях хлеба. Если кто-нибудь предлагал выпить за чье-нибудь здоровье, его подтаскивали к чаше и заставляли ткнуться в нее головой и “шуметь, как пьющий бык”. Вождю солдаты предлагали “все, что он пожелает”. (Если подумать, они вряд ли могли сделать меньше.) Бедняк выбирал любого из своих родственников, которого замечал. В штаб-квартире Хирисофоса происходили похожие сцены. Солдаты на свой греческий манер украсили свои головы венками для праздника, превратив пучки сена в цветы, а армянских мальчиков “в их странных одеждах” превратили в живописных официантов. Ксенофонт взял семнадцать великолепных молодых лошадей, которых его деревня выращивала для царя, и разделил их между своими офицерами, оставив лучших для себя. Взамен он подарил старосте своего старого скакуна, который, как он думал, вот-вот сдохнет.

После веселой недели утомительное отступление началось снова. Староста велел грекам привязать к ногам своих лошадей мешки, чтобы они не провалились под замерзшую поверхность снега. Он отправился в качестве проводника с Хирисофосом в фургоне. Пока они маршировали все дальше и дальше, так и не встретив человеческого жилья, генерал пришел в ярость и ударил проводника. На следующее утро они обнаружили, что мужчина исчез ночью. Это оказалось худшим, что с ними когда-либо случалось. После недели топота копыт по белой пустыне, где не было ничего приятного для глаз, кроме их собственных красных лохмотьев, они вышли к реке. Это был Аракс, и если бы они здесь повернули направо, еще несколько дней привели бы их в Трапезунд. К сожалению, введенные в заблуждение звучанием местного названия, они вбили себе в голову, что река - это Фазис, о котором все знали, что он протекает через земли колхов и впадает в Черное море. Поэтому они отправились *вниз* по Араксу.

Боевые действия начались с самого начала. Более того, вскоре у них не хватило провизии. Теперь они находились в дикой стране “таочианцев”, которые жили в укрепленных местах, где хранили все свои припасы. Армия должна захватить одну из этих цитаделей или умереть с голоду. Первое, к чему они пришли, было типичным. Это было просто замкнутое пространство на вершине обрыва. Извилистый ручей служил рвом. К частоколу был только один узкий путь, и этот путь пересекал непреодолимый утес. За частоколом сгрудилась толпа мужчин, женщин и животных. На вершине утеса находились таочийские воины, которые бросали камни в любого грека, отважившегося ступить на тропу. У нескольких отважившихся были сломаны ноги или ребра. Некоторое укрытие давал лес из высоких сосен, через который просачивалось около семидесяти солдат, пока между ними и частоколом не оказалось открытого пространства шириной не более пятидесяти футов. Офицер по имени Каллимахос начал забавлять армию, выскакивая из дома в лес, чем вызвал огонь камнерезов, которые запустили в него “более чем десятью телегами камней”. Затем, во время затишья среди камней, двое или трое внезапно бросились через открытую местность к частоколу. Остальные последовали за ними по пятам. Затем произошла очень ужасная вещь. Женщины сбрасывали своих младенцев в пропасть и прыгали за ними. Своего рода героическое безумие охватило беспомощных защитников. Эней из Стимфала схватил человека, одетого в великолепную одежду; этот человек обнял Энея и увлек его за собой со скалы. Вряд ли кто-то из них спасся.

Теперь десять тысяч человек вступили в страну халибов, самого храброго народа, которого они встретили за все время своего похода; чьи крепости греки не взяли. Халибийцы, которые носили огромные льняные доспехи с кисточками и держали в руках огромное длинное копье и короткий меч, обычно отрубали головы своим врагам и шли в бой, размахивая головами, распевая и танцуя. Спасшись от этих дикарей, армия пересекла реку и прошла много парасангов, повернув на запад по маршруту, который привел их, возможно, через современные города Александрополь и Карс к густонаселенному городу Ксенофонта по имени Гимния, который, должно быть, находился недалеко от Эрзерума. Здесь они нашли проводника, который пообещал наставить их на истинную дорогу домой. Они следовали за ним четыре дня. На пятый день Ксенофонт, который, как обычно, командовал арьергардом, услышал громкий и отдаленный крик. Он и его люди сразу же пришли к выводу, что на фургон напали, поскольку вся страна была охвачена оружием. С каждым мгновением отдаленный шум усиливался. Когда они смотрели на склон горы, на который только что поднялся фургон, они заметили, что всякий раз, когда компания удалялась на определенное расстояние, мужчины внезапно бросались наутек и рвались вверх по горе, спасая свои жизни. Было ясно, что происходит что-то экстраординарное. Ксенофонт вскочил на коня и, сопровождаемый кавалерией, поскакал на помощь. Но вскоре они смогли расслышать, что кричали на горе; это было *Море! Море!* Тогда арьергард тоже побежал, и вьючные животные, и лошади тоже! И на вершине они бросились обнимать друг друга, офицеры и рядовые без разбора, и слезы текли по их лицам. Затем они воздвигли огромную пирамиду из камней на вершине этого холма, откуда открывался вид на “седловину Вавуга”, где до сих пор проходит дорога.

ЭЛЕУТЕРИЯ

В чем заключался особый дар Греции миру? Ответ самих греков неожидан, но он ясен, как звук трубы: *Элевтерия*, Свобода. Дыхание Элевтерии наполняет паруса великих стихов Эсхила, оно проносится по страницам Геродота, пробуждает яростные сожаления у Демосфена и щедрые воспоминания у Плутарха. “Искусство, философия, наука, - говорят греки, - да, мы дали все это; но нашим лучшим даром, от которого произошли все остальные, была Элеутерия”.

Итак, что они имели в виду под этим?

Они имели в виду *Верховенство Закона*. Эсхил говорит о них в "*Персах*:"

Атосса. Кто их пастырь и повелитель их воинства?

Припев. Ни у кого они не называются рабами или подданными.

Теперь послушайте, как Геродот усиливает и объясняет Эсхила. *Ибо, хотя они и свободны, все же они не свободны во всем. Ибо над ними есть господь, Закон, которого они боятся гораздо больше, чем твой народ боится тебя. По крайней мере, они делают то, что повелевает им этот господь, а то, что он повелевает, остается тем же самым, а именно, что они не бегут перед лицом какой-либо толпы (Примечание 83) в битве, но соблюдают свой порядок и либо побеждают, либо умирают.* Именно Демаратос говорит о спартамцах царю Ксерксу.

Элевтерия - Царство Закона или *Номос*. Слово *Номос* начинается со значения “обычай” или “соглашение” и заканчивается обозначением того, что воплощает, насколько это возможно, универсальные и вечные принципы справедливости. Написать историю этого - значит написать историю греческой цивилизации. Лучшее, что мы можем сделать, это послушать самих греков, объясняющих, за что они боролись, сражаясь за Элевтерию. Они не будут отталкивать нас абстракциями.

Никто из читавших "*Персов*" не забудет живой и зычный голос, который внезапно выкрикивает перед встречей кораблей у Саламина: *Вперед, сыны эллинов! Освободите свою страну, освободите своих детей, своих жен, могилы ваших отцов и престолы богов ваших отцов! Теперь все зависит от вашей борьбы!* Таким образом, когда дело доходило до действий, именно это греки подразумевали под Господством Закона. Это не покажется таким уж загадочным, если вы сформулируете это так: то, за что они боролись, было право управлять собой. Здесь, как и везде, мы можем наблюдать, как борьба греков и варваров наполняет трепещущей жизнью такие слова, как Свобода, которые тупым людям обычно казались абстрактными, а людям защищенным - блеклыми. Ибо у варваров вообще не было настоящих законов. Как возможны законы, когда “все рабы, кроме одного”, и он ни перед кем не отвечает? Таким образом, борьба за Свободу становится борьбой за Закон, чтобы ни один человек не мог стать хозяином другого, но все были в равной степени подчинены Закону, “служение которому - совершенная свобода”.

(Примечание 84)

Эта концепция сформировалась в напряженном конфликте с варварами, кульминацией которого стала персидская опасность. К этому пункту хорошо подготовить наши умы признанием. Спор никогда не был простым спором о добре и зле. Персия, по крайней мере, в некоторых отношениях опережала Грецию, с которой она сражалась при Саламине; и не только в материальном великолепии. Теперь это ясно каждому историку; для самих греков это никогда не было иначе. Обладая таким воображением, которое заставляет человека понимать своего врага, они видели в персах многое, вызывающее восхищение, — их отвагу, их рыцарство, их щедрость, их талант к управлению. Греки с энтузиазмом восприняли (что было отчасти, по крайней мере, литературным) план воспитания молодых дворян — “скакать на лошади, стрелять из лука и говорить правду!” На самом деле эти два народа, хотя они никогда не осознавали этого, не были ни по расе, ни по языку очень далеки друг от друга. Но судьбой персов было стать преемниками империи, по сути азиатской, и таким образом стать лидерами и поборниками культуры, чуждой Греции и нам. В таком деле сами их достоинства делали их еще более опасными. Компромисс был невозможен. Персия и Греция олицетворяли нечто большее, чем две политические системы; на карту был поставлен европейский разум, европейский способ думать и чувствовать о вещах, душа Европы. С этим ничего не поделаешь; в такой ссоре мы должны принять чью-либо сторону.

Давайте сначала посмотрим на персидскую сторону. Фраза, которую я процитировал о том, что все мужчины в Персии являются рабами, кроме одного, не является частью греческой риторики; это был официальный язык империи. Величайший государственный чиновник (Примечание 85) рядом с королем все еще был его “рабом”, и он обращался к нему именно так. Король был властелином и абсолютом. Надпись в Персеполе гласит: *Я Ксеркс, Великий Царь, Царь царей, Царь многоязычных стран, Царь этой великой вселенной, Сын царя Дария, Ахеменида. Ксеркс, Великий царь, говорит: “Милостью Ахурамазды я создал этот портал, на котором изображены все страны”*. Греческий оратор Эсхин говорит: “Он называет себя Господином людей от восхода до захода солнца”. Письмо Дария Гадатасу — оно существует и по сей день — адресовано “Дарию, сыну Гистаспа, царю царей”. Это, как мы знаем, был любимый титул. Закон страны был резюмирован в предложении: *Король может делать все, что ему заблагорассудится*. Греция спасла нас от этого.

Ни один мужчина не мог войти в священное присутствие без разрешения. Тот, кто был допущен, должен пасть ниц до земли. Император восседал на скульптурном троне, держа в руке скипетр, увенчанный золотым яблоком. Он был одет в великолепные штаны и великолепную мидийскую мантию. На голове у него был остроконечный *китар*, опоясанный короной, из-под которой ниспадали официально завитые волосы, сливаясь с пышной бородой. На нем были золотые цепи и золотые браслеты, его окружал золотой пояс, из ушей свисали золотые кольца. За тронном стоял слуга с веером от мух и зажимал рот, чтобы его дыхание не коснулось королевской особы. Перед тронном стояли придворные, их руки были прикрыты, веки подкрашены *тушью для ресниц*, губы никогда не улыбались, накрашенные лица не двигались. Греция спасла нас от всего этого.

(Примечание 86)

У царя было много жен и огромный гарем наложниц — по одной на каждый день в году. Вы помните Книгу Есфири. Артаксеркс - это греческий Ксеркс. У Геродота есть рассказ об этом суде, который, каким бы недостоверным он ни был в деталях, имеет очевидную доказательную

ценность. По возвращении из Греции Ксеркс отдыхал в Сардах, древней столице Лидии. Там он влюбился в жену своего брата Масистеса. Не желая брать ее силой, он прибегнул к тактике. Он обручил своего сына Дария с Артайнте, дочерью Масистеса, и взял ее с собой в Сузы (Шушан Эстер), надеясь заманить ее мать в свой большой дворец, “где были белые, зеленые и синие портьеры, прикрепленные шнурами из тонкого льна и пурпуром к серебряным кольцам и мраморным колоннам”. Однако в Сузах царь испытал новое ощущение и влюбился в Артайнте, которая ответила ему взаимностью. Теперь королева Аместрис собственными руками соткала чудесное одеяние для своего господина, который неосмотрительно надел его, чтобы нанести свой следующий визит в Артайнт. Конечно, Артайнте просила об этом, конечно, в конце концов она это получила, и, конечно, она взяла за правило носить это. Когда Аместрис услышала об этом, она обвинила, как говорит Геродот, не девочку, а ее мать. Терпеливо притворяясь, она ничего не предпринимала до Праздника в честь Дня рождения короля, когда он не может отказать в просьбе. Затем она попросила подарить ей подарок жене Масистеса. Король, понявший ее намерения, попытался спасти жертву, но слишком поздно. Аместрис тем временем послала королевских солдат за женщиной; и когда она оказалась в ее власти, *она отрезала ей груди и бросила их собакам, отрезала ей нос, уши, губы и язык и отправила ее домой.*

Можно подумать, что о персидской монархии нельзя справедливо судить по поведению Ксеркса. Ответ на это, по-видимому, заключается в том, что грекам пришлось сражаться именно с Ксерксом. Но давайте рассмотрим другой случай, Артаксеркса II, чью жизнь мягкий Плутарх выбрал для написания из-за мягкости и демократичности, которые отличали его от других представителей его рода. И все же *Жизнь Артаксеркса* была бы поразительной в хронике итальянского Возрождения. История, которую я приведу из нее, вероятно, была заимствована из *Персидской истории* Ктесия, который был греческим врачом при дворе Артаксеркса. Этот Ктесий, как рассказывает нам сам Плутарх, был в высшей степени некритичным человеком, но, в конце концов, как продолжает Плутарх, он вряд ли мог ошибаться в том, что происходило у него на глазах. Итак, вот история, немного сокращенная.

Она— то есть Парисатида, царица-мать, —поняла, что он— царь Артаксеркс -испытывал неистовую страсть к Атоссе, одной из своих дочерей.... Когда Парисатида заподозрила это, она заботилась о ребенке больше, чем когда-либо, и в разговоре с Артаксерксом восхваляла ее красоту и царственные манеры. Наконец она убедила его жениться на девушке и сделать ее своей настоящей женой, пренебрегая мнениями и законами (Notoi) греков; она сказала, что он сам был назначен богом (Ахурамазда) законом для персов и судьей чести и бесчестья.... Атоссу ее отец так любил в браке, что, когда проказа покрыла ее тело, он не испытывал к ней ни малейшего отвращения, но молился за нее Гере (Анайтиде?) он поклонился только этой богине, коснувшись руками (Примечание 88) земли; в то время как его сатрапы и друзья послали по его приказу богине такие дары, что все пространство между храмом и дворцом, которое составляло шестнадцать стадий (почти две мили) , было заполнено золотом, серебром, пурпуром и лошадьми.

Впоследствии Артаксеркс взял в свой гарем еще одну из своих дочерей. Религия Заратустры разрешала это. Она также разрешала брак с матерью. Согласно персидским представлениям, и Ксеркс, и Артаксеркс вели себя совершенно корректно. Царская кровь была слишком близка к божественной, чтобы смешиваться с низменными течениями. Нет особых оснований полагать, что Ксеркс был исключительно порочным человеком, в то время как Артаксеркс казался

сравнительно добродетельным. Ошибочной была сама система. Чего вы можете ожидать от принца, не знающего никаких других законов, кроме своей собственной воли, и с младенчества окруженного ядовитыми интриганками и евнухами? Один только Вавилон ежегодно отправлял пятьсот мальчиков в качестве евнухов.... Я думаю, теперь мы можем оставить персов.

Послушайте снова Фокилида: “Маленький благоустроенный город на скале лучше, чем неистовая Ниневия”. Старый поэт имеет в виду город греческого типа, а под “благоустроенным” он подразумевает управляемый законом, который гарантирует свободы всех при ограничении привилегий каждого. Этого, секрета истинной свободы, Варвар никогда не понимал. Спертиас и Булис, два богатых и знатных спартанца, предложили сдаться справедливому гневу Ксеркса, послы которого были брошены насмерть в глубокий резервуар с водой. По дороге в Сузы их развлек персидский вельможа Гидарнес, который (Примечание 89) сказал им: Мужи Спарты, почему вы не проявляете дружелюбия по отношению к царю? Глядя на меня и мое состояние, вы видите, что король знает, как почитать хороших людей. Подобным образом и вы, если бы вы предали Царю (ибо он считает вас хорошими людьми), каждый из вас двоих был бы правителем греческих земель, данных вам царем. Они ответили: Гидарнес, твой совет, касающийся нас, касается только одной стороны, в которой ты имеешь опыт, в то время как другую ты не пробовал. Ты понимаешь, что значит быть рабом, но свободы ты не пробовал, сладка она или нет. Ибо, если бы ты захотел испытать это, ты бы посоветовал нам сражаться за это не только копьями, но и топорами!

Поэтому, когда Александр, царь Македонии, прибыл в Афины с предложением Ксеркса, что в обмен на союз с ними он предоставит афинянам новые территории для свободного проживания и восстановит сожженные им храмы; и когда спартанские послы умоляли их не делать того, что предлагал царь, афиняне ответили. *Мы знаем так же хорошо, как и ты, что мощь персов во много раз превосходит нашу, так что тебе не нужно обвинять нас в том, что мы забываем об этом. И все же мы будем бороться за свободу, насколько сможем. Чтобы заключить соглашение с Варваром, не пытайся убедить нас, и нас не убедишь. А теперь передай Мардонию, что Афины говорят: “Пока солнце держится того пути, по которому оно сейчас идет, мы никогда не заключим договора с Ксерксом; но выйдем на битву с ним, уповая на богов, которые сражаются за нас, и на могущественных мертвецов, чьи жилища и святыни он презрел и сжег огнем”. Таков был их ответ Александру; но спартанцам (Примечание 90) они сказали: Молитва Спарты о том, чтобы мы не заключали соглашения с варваром, была вполне простительной. И все же, зная нрав Афин, вы, несомненно, позорите нас своими страхами, видя, что во всем мире нет ни такого количества золота, ни какой-либо земли, превосходящей нас по красоте и благости, ради которой мы согласились бы присоединиться к Мидянам для порабощения Эллады. Нет, даже если бы мы захотели этого, многое мешает нам: во—первых, изображения и святилища богов сожжены и брошены в кучу, за которых мы должны отомстить изо всех сил, а не соглашаться с исполнителем этих поступков; и, во-вторых, есть наша греческая кровь и речь, узы общих храмов, жертвоприношений и схожего образа жизни - если бы Афины предали все это, это было бы нехорошо....*

οὐ καλῶς ἂν ἔχοι, "это было бы нехорошо". Когда я писал о греческой простоте, я должен был помнить этот отрывок. Но наша нынешняя тема - значение Элевтерии. “Наш первый долг, - говорят афиняне, - отомстить за наших богов и героев, чьи храмы были осквернены”. Такой язык должен странно звучать в наших ушах до тех пор, пока мы не задумаемся о характере древней

религии. Для греков времен Ксеркса религия означала, грубо говоря, посвящение гражданина службе государству. Когда афиняне говорят о богах и героях, храмы которых были сожжены, они имеют в виду богов и героев Афин, которые были разграблены армиями Мардония; и они думают главным образом об Афине и Эрехтее.

Итак, кем была Афина? Вы можете прочитать в книгах, что она была “богиней-покровительницей Афин”. Но она была чем-то большим; она *была* Афинами. Вы можете прочитать, что она “олицетворяла богатство Афин”; но на самом деле она *была* богатством Афин. Далее вы можете прочитать, что она “воплощала афинский идеал”; это достаточно верно, но как мала доля правды! Образ богини формировался не столько тем, какими могли бы стать Афины, сколько тем, какими Афины были. Именно сегодняшний и вчерашний город наполнил сердца афинян таким чувством потери и такой потребностью отомстить за свою Хозяйку Акрополя. Ибо то, что было средоточием жизни старого города, дорогой, знакомый храм их богини, превратился в груды камней и пепла, смешанных с останками стариков, которые остались здесь умирать.

Что касается Эрехтея, то он был великим афинским “героем”. Истинная природа “героя” - чрезвычайно спорный вопрос; но то, что нас здесь интересует, - это практический вопрос, то, что думали древние. Они, справедливо или ошибочно, обычно думали о своих “героях” как о знаменитых предках. Афиняне считали Эрехтея своим главным предком и боготворили его. Кекропс был более ранним, но по какой-то причине не столь почитаемым; Тесей был более знаменит, но позже и даже в чем-то чужаком, поскольку он, по-видимому, родом из Трезены. Таким образом, все эти чувства, столь сильные в древних сообществах, связанные с общей кровью и ее священными обязательствами, были связаны главным образом с Эрехтеем как “отцом своего народа”, а не с девой Афиной. Этот старый царь первобытных Афин требовал своей доли благочестия, причитающегося умершим из [\(Примечание 92\)](#)каждого дома, - чувства столь сильного свойства среди неискушенных народов, что некоторые искали в нем корни всех религий. Это эмоция, которую трудно описать и еще труднее оценить. Эрехтей был Сыном Земли, то есть, на самом деле, Аттической Земли; и на расписных вазах вы видите его, маленького обнаженного ребенка, принимаемого Афиной из рук Земли, женской фигуры, наполовину скрытой в земле, которая поднимает его на свет дня. Результатом всего этого было напоминание афинянам, что они сами были *автохтонами*, рожденными из почвы, и Аттическая земля также была их матерью. Не только ее духовные дети, как вы понимаете, и не только вскормленные от ее щедрот, но и кость от ее кости и плоть от ее плоти. *Ге Куротрофос* они называли ее “Земля, Воспитательница наших Детей”. Соедините все эти чувства, укоренившиеся и окрепшие со временем: любовь к Городу (Афина), любовь к родине и матери— Земле (Ге), любовь к непрощенным и незабвенным мертвецам (Эрехтей) - соедините все эти чувства, и вы поймете, почему защита столь великих святых и отмщение за нанесенное им оскорбление казались афинянам первой и величайшей частью Свободы.

Так чувствовал себя Фемистокл, когда после Саламина сказал: *Не мы совершили это деяние, а боги и герои, которым было ненавистно, что один человек стал властелином Европы и Азии; нечестивый и грешный, который одинаково почитал священное и нечестивое, сжигал храмы и низвергал изображения богов; который также бичовал море и наложил на него оковы.* И именно это чувство придает столь исключительную красоту и очарование истории Дикаиоса. “Дикай, сын Феокида, афинянин, находившийся тогда в изгнании и пользовавшийся репутацией среди персов, сказал, что в это время, когда Аттика опустошалась лакеями Ксеркса и в ней не осталось жителей, случилось так, что он был с Демаратом на Фризской равнине,

когда они заметили столб пыли, который могли поднять тридцать тысяч человек, двигавшийся из Элевсина. И пока они гадали, какие люди могли быть причиной пыли, вскоре они услышали звуки голосов, и ему показалось, что это было ритуальное песнопение Якху. Демаратос ничего не знал об обрядах, которые совершаются в Элевсине, и спросил его, что это за звук. Но он сказал, *Демаратос, что войску короля наверняка причинят какой-то большой вред. Ибо очевидно — в Аттике не осталось ни одного человека, — что это бессмертные Голоса, исходящие из Элевсина, чтобы отомстить за афинян и их союзников. И если этот гнев обрушится на Пелопоннес, сам царь и его сухопутная армия окажутся в опасности; но если он повернет к кораблям у Саламина, царю грозит потеря своего флота. Это праздник, который афиняне ежегодно проводят в честь Матери и Служанки, и каждый афинянин или другой грек, который желает этого, получает посвящение; и звук, который ты слышишь, - это пение посвященных.* Демаратос ответил: *Молчи и никому больше не рассказывай эту историю. Ибо, если эти твои слова будут доведены до сведения короля, ты лишишься своей головы, и я не смогу спасти тебя, ни я, ни кто-либо другой. Но молчи, и Бог разберется с этим воинством.* Так он дал ему совет. И пыль и крик превратились в облако, и облако поднялось и двинулось в сторону Саламина, к лагерю греков. Значит, они знали, что флот Ксеркса обречен.

Афина, Мать-Дева Деметра-Персефона с мистическим ребенком Якхом, Борей, “зять Эрехтея”, чье дыхание рассеяло вражеские корабли под Пелионом и Капареем, - таковы “боги, которые сражаются за нас” и требуют взамен любви и служения Афин. Хорошо бы внимательно запомнить этот религиозный элемент в древнем патриотизме, настолько значительный элемент, что можно сказать без всякого преувеличения, что для древних патриотизм был религией. Следовательно, Элевтерия, идеал патриота, тоже является религией. Такие инстинкты и верования сплетены в одну священную неразрывную связь, объединяющую Богов и людей, сами холмы и реки Греции против чужеземного владыки. Назовите это, если хотите, мистической и запутанной эмоцией; но не отрицайте ее красоты и не недооценивайте ее огромной силы.

Но здесь (чтобы при обсуждении чувства, которое может показаться запутанным, мы сами не впали в замешательство) давайте подчеркнем различие, которое, действительно, уже было указано. Греческий патриотизм был таким же широким, как и сама Греция; но, с другой стороны, его интенсивность была обратно пропорциональна его распространению. Греческий патриотизм был прежде всего местным явлением, и требовалось давление явной национальной опасности, чтобы поднять его до более широкого кругозора. Это было верно в основном и в отношении среднего человека, хотя каждое поколение порождало определенных высших духов, государственных деятелей или философов, чье мышление не было партикуляристским. Именно этот домашний вкус придавал древнему патриотизму особую соль и остроту. Когда афиняне в речи, которую я процитировал, говорят, что их первейший долг - отомстить за своих богов, они больше думают об Афинах, чем о Греции. Они думают обо всем, что мы подразумеваем под “домом”, за исключением того, что дом для них был ограничен городской стеной, а не четырьмя стенами дома.

Более широкий патриотизм нации греки открыто или в своих сердцах ставили на второе место. Взгляните еще раз на речь афинян. Первыми появились Афины и их боги и герои — боги их *отцов*; следующими за *Эллиниконом*, благодаря которому они стали не просто афинянами, а эллинами — общностью расы и языка, общим интересом к *национальным* богам и их праздникам, таким как Зевс Олимпийский с Олимпийскими играми, дельфийский Аполлон с Пифийскими играми. Конечно, этот эллинский или панэллинский интерес существовал всегда, и в некотором смысле будущее было за ним; но никогда во времена расцвета Греции он не вытеснял старую сильную местную лояльность. Греческая цивилизация движется от более узкой концепции патриотизма к более широкой, но последний идеал основан на первом. Любовь греков к родине подпитывалась местными пожарами, и даже греческий космополитизм оставлял человека *гражданином*, пусть и гражданином мира. Так было и с Элеутерией, которая расширялась в том же смысле и такими же темпами.

Это развитие лучше всего можно изучить в Афинах, которые были "Элладой из Эллад". В аттической литературе можно найти страстный эллинизм в сочетании со страстной убежденностью в том, что эллинизм находит своего лучшего представителя в Афинах. Старый местный патриотизм выживает, но подпитывается все больше и больше новыми амбициями. Выдвигаются новые требования, новые идеалы. Одно утверждение появляется очень рано, если мы можем верить Геродоту, что афиняне использовали его в дебатах с жителями Тегеи перед битвой ([Примечание 96](#)) при Платеях. Афиняне вспомнили, как они дали приют Детям Геракла, когда все остальные греческие города отказывались этого делать из страха перед Эврисфеем; и как они снова спасли убитых Семерых от фиванского царя и похоронили их вопреки его воле. В этих двух знаменитых случаях афиняне проявили добродетель, которую они считали наиболее характерной для эллинизма и особенно присущей им самим, добродетель, которую они называли "филантропией" или любовью к человеку. То, что Гейне сказал о себе, могли бы сказать афиняне: они были храбрыми солдатами в освободительной войне человечества.

Есть пьеса Еврипида под названием "*Женщины-просительницы*", в которой рассказывается об эпизоде с непогребенными мертвецами в Фивах. Фрагментарный аргумент гласит: *Место действия - Элевсин. Хор аргивянок, матерей героев, павших в Фивах. Эта драма - прославление Афин.* Красноречивый Адраст, царь Аргоса, отстаивает интересы женщин-просительниц, которые приехали в Афины просить помощи у их молодого царя Тесея в организации погребения их умерших. Тесей сначала склонен отклонить их мольбу по государственным соображениям; он должен подумать о безопасности своего собственного народа; когда его мать Айтра раздражается негодованием: *Конечно, скажут, что бесстрашными руками, когда ты мог завоевать венец славы для своего города, ты отказался от опасности и сравнял себя, подлый труд, с дикой свиньей; и когда твоя роль заключалась в том, чтобы взирать на шлем и копье, проявляя в этом свою мощь, ты оказался трусом. Подумать только, что мой сын — ах, не надо так! Видишь ли ты, как Афины, которых насмешливые уста называли неразумными, бросают на своих насмешников* ([Примечание 97](#)) *ответный презрительный взгляд? Опасность - ее стихия. Это города, лишенные приключений, совершающие осторожные поступки в темноте, чье зрение из-за этого также затемнено.* И в результате Тесей и его люди выступают против великой державы Фив, побеждают ее и забирают тела, которые с должным соблюдением соответствующих обрядов они предадут земле Аттики.

“Сделать мир безопасным для демократии” - это нечто; но Афины никогда не считали это безопасным, возможно, не верили, что это может быть безопасно. *Готов рисковать, встречая опасность с воодушевлением ... вся их жизнь - круговорот трудов и опасностей ... Они сами не рождены ни для того, чтобы отдыхать, ни для того, чтобы позволять другим людям.* Такими фразами описывают афинян их враги. Друг сказал: *Я должен опубликовать мнение, которое будет неприятно большинству; и все же (поскольку я думаю, что это правда) Я не буду скрывать его.* Если бы афиняне, опасаясь надвигающейся опасности, покинули свою землю или, не покидая ее, а оставаясь позади, подчинились Ксерксу, никто бы не попытался встретиться с царем на море. И так все было бы потеряно. *Но поскольку дело дошло до этого, было бы простой правдой сказать, что афиняне были спасителями Греции.* Баланс сил в успехе, несомненно, склонился на сторону, которую они поддерживали, и, выбрав дело Эллады и сохранение ее свободы, именно афиняне, и никто другой, подняли на ноги весь греческий мир — за исключением тех, кто изображал предателя, — и с Божьей помощью оттолкнули царя. А несколько поколений спустя Демосфен в том, что можно было бы назвать надгробной речью Элевтерии, резюмирует притязания Афин словами, неувядающее величие которых - сама гордость и слава, преображающие боль неудач. *Умоляю вас, пусть никто не воображает, что в том, что я говорю, есть что-то парадоксальное или преувеличенное, но отнеситесь к этому с сочувствием.* Если бы это событие было ясно всем людям заранее ... *Даже тогда Афины могли бы сделать то, что она сделала, только в том случае, если бы ее слава, ее будущее и мнение грядущих веков что-нибудь значили для нее.* На данный момент действительно кажется, что она потерпела неудачу; как человек всегда должен терпеть неудачу, когда того желает Бог. Но если бы она, которая утверждала, что является лидером Греции, уступила свои права Филиппу и предала общее дело, ее честь была бы не чиста.... *Да, афиняне, вы поступили правильно — будьте в этом совершенно уверены, — когда отважились на авантюру ради безопасности и свободы всех; да, вашими отцами, которые сражались при Марафоне, Платеях, Саламине и Артемидии, и многими другими, лежащими в своих почетных могилах, они были вполне заслужены, поскольку все были признаны достойными этой равной дани со стороны государства, а не только (о Эсхин) успешными, победоносными....*

Демосфен был прав, полагая, что Элевтерия чувствует себя в Афинах как дома. Итак, Афины, как всем известно, были “демократией”; то есть общая группа граждан (исключая рабов и “иностранцев-резидентов”) лично принимала и толковала свои законы. Такая конституция характеризовалась двумя элементами, которые в совокупности практически исчерпывали ее значение, а именно: *автономией*, или свободой управлять собой по своим собственным законам, и *изономией*, или равенством всех граждан перед законом. Таким образом, Элевтерия, определяемая как Правление Закона, может рассматриваться как синоним демократии. “Основой демократического устройства является Элевтерия”, - говорит Аристотель. Это общая черта всех греческих писателей, независимо от того, пишут ли они с целью восхваления или осуждения. Так, Платон с юмором, но не вполне (Примечание 99)добродушно жалуется, что в Афинах сами лошади и ослы сбивали вас со своего пути, настолько воодушевленными они были атмосферой Элевтерии. Но в худшем случае он означает только то, что у вас, возможно, слишком много хорошего. Элевтерия переводится как неограниченная демократия, против которой вы можете возразить; Элевтерия как идеал или лозунг неизменно завоевывает уважение греческих мужчин. Очень рано зарождается тот сентиментальный республиканизм, который вдохновляет Плутарха и через Плутарха оказал

столь огромное влияние на практические дела человечества. Это появляется в начале знаменитой "попойки" *"Я буду носить меч в миртовой ветви, как Гармодий и Аристогитон"*. Это встречается у Геродота. Перс Отанес (говорящий по-гречески по политической философии), после перечисления всех зол правления тирана, вынужден сказать: *Но то, о чем я собираюсь рассказать, - это его величайшие преступления: он нарушает обычаи предков, насилует женщин и предаёт мужчин смерти без суда. Но, во-первых, правление народа носит самое справедливое название в мире - "изономия", а во-вторых, оно не делает ничего из того, что делают деспоты.* От своего имени Геродот пишет: *Не только в одном, но и во всех случаях ясно, насколько превосходной вещью является "равенство". Когда афиняне были под властью своих тиранов, они сражались не лучше своих соседей, но после того, как они избавились от своих хозяев, они легко превзошли их. Теперь это доказывает, что, когда они были скованы, они сражались без духа, потому что трудились для учителя, но когда они были освобождены, каждый человек был побужден к максимальным усилиям ради себя.* В то же утро уверенность в демократии проявляется в ответе конституционного царя Тесея ([Примечание 100](#)) герольду в пьесе Еврипида, спрашивающему о "тиране" Афин. *Ты сделал ложный шаг в начале своей речи, о чужеземец, ища здесь тирана. Афинами правит не один человек, они свободны. Люди правят по очереди, из года в год, не отдавая предпочтения богатым, но давая им равную меру с бедными.*

The *Наивность* этого вызывает улыбку, но это также должно вызвать некоторые размышления. Почему риторика о свободе так мало волнует нас? Отчасти, я думаю, потому, что изменилось значение этого слова, а отчасти из-за этой новой "свободы" у нас ее сверхизбыточность. Свобода больше не означает в первую очередь Господство Закона, а нечто вроде его противоположности. Давайте восстановим греческую позицию, и мы поймем или, по крайней мере, поймем греческие эмоции по отношению к Элевтерии. Ясон говорит Медее в пьесе Еврипида: *Ты живешь в греческой, а не в варварской стране, и познала Справедливость и применение Закона без благосклонности к сильным.* Самый "романтический" герой греческой легенды, рекомендуя соблюдать условности!

Это, однако, восхитительно и характерно для Греции. Типичные герои древних историй похожи в своем отстаивании закона и порядка. Я полагаю, что двумя самыми популярными и представительными были Геракл и Тесей. Каждый путешествует по Греции и Берберии, уничтожая гибридов, местных королей-разбойников, сильных дикарей, всепожирающих монстров, дурные обычаи и всевозможные "беззакония" и "несправедливость". На своем месте каждый представляет греческие нравы и правительство, Закон и Справедливость. Именно это так привлекло к ним симпатии греков и так возбудило греческое воображение. Ибо греков окружали опасности, подобные тем, с которыми столкнулись Геракл или Тесей. Если бы им не приходилось сражаться со сверхъестественными гидрами, гигантами с тремя телами и животными-получеловеками, им предстояла бы бесконечная новаторская работа, которая сделала бы такие фантазии достаточно реальными для них; и люди, сражавшиеся с дикими фракийскими племенами, могли бы искренне посочувствовать Гераклу в его битве с фракийским "царем" Диомедом, который кормил своих огнедышащих лошадей мясом чужаков. Предпочтение греков героям такого типа не было чисто инстинктивным; оно было обоснованным и сознательным. "Миссия" Геракла, например, во многом является темой пьесы Еврипида, которую мы обычно называем *"Геракл верный"*. Современник Еврипида, софист Гиппий из Элиды, был автором слишком известной апологии *"Выбор Геракла"*, представляющей молодого героя, делающего правильный выбор между Трудолюбивой Добродетелью и

роскошным пороком. Другая еврипидовская пьеса, *"Женщины-просительницы"*, как мы видели, раскрывает Тесея в образе обычного, почти болезненно конституционального монарха, говорящего языком лорда Джона Рассела. Что касается нас, то наши симпатии готовы излиться на живописных поверженных монстров — свободных кентавров, скачущих галопом по Пелиону, — на минотавра-каннибала, скрывающегося в своем Лабиринте. Но тогда наши невесты не будут потревожены набегами диких всадников с гор, и наших детей не уведут, чтобы с ними расправились по воле иностранного монарха. Люди, которые сталкиваются с подобными переживаниями, на удивление устают от них. Мифологам известна фигура Культурного героя. Считается, что именно он привнес закон, порядок и полезные искусства в грубое сообщество, в котором он вырос. К таким героям относились особо, и благоговение, испытываемое к ним, измеряло потребность в них. Так, в древней Греции мы читаем о Прометее и Паламедесе, у финнов был свой Вайномейнен, у индейцев Северной Америки — свой Гайавата. Вспомните еще раз таких исторических личностей, как Карл Великий и Альфред, Солон и Нума Помпилий, даже Александр Македонский. В их именах есть особая романтика. Почему? Только потому, что людям, сражающимся в битве с хаосом и ночью, которая часто казалась заведомо проигранной, установление и защита закона и порядка казались самым романтичным поступком, который только мог совершить человек. Так оно и было.

Такой взгляд был для них естественным. Покажется ли он естественным нам, зависит от состояния нашей цивилизации. На этот счет мы можем оставить пророков разглагольствовать и довольствоваться наблюдением, что в наши дни в Европе есть районы, в которых многие люди должны чувствовать себя в положении Роланда, сражающегося с сарацинами, или Аэция против гуннов. Что касается нас самих, то, какими бы уверенными мы себя ни чувствовали, было бы глупо проявлять чрезмерную самоуверенность, ибо мы ведем битву, которой нет конца. Варвар, которого мы всегда будем иметь с собой, на наших границах или в нашей собственной груди. Существует также опасность, что приз за победу может, подобно Анжелике, ускользнуть из рук борцов. Возможно, видение, которое нас вдохновляет, уже меняется. Я не собираюсь нападать на характер этих изменений, но интерпретирую греческую концепцию цивилизации просто как вклад в решение проблемы. Таким образом, для греков цивилизация — это медленный результат определенного незапамятного образа жизни. Вы не можете почерпнуть это из книг или приобрести путем подражания; вы должны впитать это и позволить этому сформировать ваш дух, вы должны жить в этом и переживать это; и вам будет трудно сделать это, если вы не родились в этом и не получили это по праву рождения, как форму, по которой вы отлиты, как были отлиты ваши отцы. "О, но мы должны быть более прогрессивными, чем это". Ну, мы не такие; напротив, греки были самыми прогрессивными людьми, которые когда-либо существовали — интеллектуально прогрессивными, я имею в виду, конечно; ибо разве мы не говорим о цивилизации?

Таким образом, греческая концепция, похоже, работает. Я думаю, что она работает, и сработала, потому что традиция, какой бы лелеемой она ни была, не считается неизменной. Для греков она не более неподвижна, чем дерево, причем дерево, рост которого они всячески стимулировали. Кажется довольно распространенной ошибкой, в которую иногда впадают м-р Беллок и м-р Честертон, когда современные поборники традиций чрезмерно подчеркивают их стабильность. Всегда существовал тип "пьяных, громко поющих, антисанитарных людей", которого мистер Уэллс назвал идеалом этих двух писателей; он является основополагающим типом европейской цивилизации. Но, похоже, мистер Беллок и мистер Честертон были им полностью довольны. Они хотят, чтобы он оставался на своем маленьком участке, ел много

ветчины и сыра, выпивал кварталы эля, ненавидел богачей и политиков, был совершенно замкнутым и неграмотным. Но эллинизм означает просто попытку поработать над этим здоровым и цельным материалом; он не довольствуется тем, что оставляет его таким, какой он есть; он стремится развить его, но развить в рамках (Примечание 104)традиции; превратить его из аристократа-землевладельца в афинского гражданина. Но мистер Беллок и мистер Честертон - греки в том, что у них постоянно возникает ощущение, что они ведут бесконечную и сомнительную битву с сильными врагами, которые уничтожат все, что наиболее необходимо душе цивилизованного человека. *В глубине души я знаю, что священный Илион должен пасть, и Приам, и народ Приама с добрым ясеновым копьём ... и все же перед смертью я совершу поступок, о котором услышат века спустя!*

В

СОФРОСИНЕ

Современному человеку нужно воображение, чтобы окунуться в атмосферу древней Греции. Сейчас нам, видевшим, как сокрушаются и пятнают жизнь и святости свободных народов, не должно быть так тяжело. Нам должно быть легче вновь погрузиться в духовную почву Эллады, почувствовать новый трепет в ее, казалось бы, слишком простых формулах, новую ценность в ее, казалось бы, холодных идеалах. Сейчас уместно написать о ней, и это оправданно - писать с ожившей надеждой. Несмотря на все это, ментальные привычки - это последнее, что мы теряем, и привычка считать нашу цивилизацию безопасной успела глубоко укорениться в наших умах. Это изменило наше мировоззрение, направило наши вкусы, изменило наши души.

Это последнее выражение может показаться чрезмерным. Однако задумайтесь, так ли это на самом деле. Все эти века мы чувствовали себя в безопасности. Если нас и охватил страх, то это был не страх за саму ткань цивилизации. Мы понемногу устали от нашей неизбежно захватывающей и проникающей культуры. Мы называли это нашей “старой” цивилизацией с некоторым намеком на маразм; и мы были недовольны ее ограничениями и условностями. Мы были затронуты по-разному, но мы все были затронуты, мы все устали от нашей безопасности. Чтобы спастись от этого, некоторые из нас бежали по открытым дорогам и живописному цыганству, некоторые охотились на крупную дичь в Африке. Один или двое из нас действительно делали эти вещи, большее число - в воображении, читая о них в книгах. Другие, не желая утомлять свое тело, или слишком привередливые, или искренние, или болезненные, чтобы находить облегчение в личных или опосредованных приключениях — по той или иной причине, - стремились к “духовным приключениям” или вспыхивали бунтом против того, что, по их мнению, оскорбляло их души. Кажется достаточно очевидным, что наша божественность города и поля - это не две вещи, а одно, и меня не останавливает от этого мнения сознание темпераментных различий между типичными современными людьми, такими как (чтобы не подходить слишком близко к самим себе) Уитмен и По в Америке. Симптомы разные, но болезнь одна и та же.

Я не собираюсь защищать слово “болезнь”, если оно кажется нежелательным. Возможно, это вполне превосходная и здоровая реакция, которую мы испытываем. Но реакция означает нарушение равновесия, оставляющее нас в некоторой степени, как мы говорим, неуравновешенными. Возможно, у греков это было в противоположном смысле. Я не могу отрицать (поскольку я не уверен в этом), что они впали в другую крайность. Это возможно и даже вероятно. Но если они были довольно помешаны на добродетелях здравомыслия и довольно чрезмерны в своей страсти к умеренности, то эта интенсивность может быть целебной только для нас, которые остро нуждаются в тонизирующем средстве. Это может помочь нам достичь того справедливого равновесия, в котором душа не спит, а, на самом деле, наиболее трепетно чувствительна. Будучи такой, какая она есть, человеческая душа, похоже, обречена вечно колебаться в своем равновесии. У нее всегда будут свои действия и реакции. Наша бурная реакция на чувство абсолютной безопасности совершенно естественна из-за той странной страсти, смешанной с тоской и страхом, которая влечет нас в самое сердце одиночества и ночи. Но это полностью изменило нашу точку зрения. Мы пожелали, чтобы были условия, от которых греки, имея их, хотели избавиться. Мы пожелали, чтобы лес рос ближе к нашим дверям. Мы восхищались исследователями и первопроходцами. Мы восхищались ими, потому что мы другие. Что ж, греки были исследователями и первопроходцами — и не только в духовных вопросах — и они хотели, чтобы леса исчезли. Естественно, вы видите; так же естественно, как мы страстно желаем, чтобы это было там.

У Ювенала есть строчка, которая означает, что когда боги намереваются уничтожить человека, они исполняют его желание. Если бы мы внезапно оказались в сердце дикости, большинство из нас захотело бы отказаться от своих молитв. Робинзону Крузо надоел его восхитительный остров. Люди, живущие на пороге цивилизации, склонны лелеять идеалы, которые вызывают сильную дрожь в душе современного художника. Находясь на африканской или канадской границе или путешествуя по южным морям, человек может мечтать о будущем “доме”, подобном тому, который вызывал у стольких наших писателей смех или жалость. Какими бы ни были наши собственные устремления под бременем подобных обстоятельств, мы должны, по крайней мере, испытать гораздо более глубокое осознание ценности тех самых вежливостей и условностей, от которых мы заявляли, что устали. Отстаивать знамя человеческого духа против сил, которые хотели бы сокрушить и унижить его, — это казалось бы героическим, романтическим поступком. Именно в этом заключалась миссия Греции, о чем она хорошо знала, ощущая всю славу и труд, связанные с этим. И поскольку храбро бороться за справедливый идеал, когда материальные шансы против тебя, романтично, в этой степени романтической была Греция. Ее победа (плоды которой мы пожинаем) нанесла ей такую травму, что ее идеал утратил привлекательность, присущую прекрасным вещам, находящимся под угрозой. Это стало “классическим” идеалом, освященным и — для большинства из нас — мертвым.

Но оно не умерло и никогда не исчезнет, ибо это лозунг конфликта, который может утихнуть, но не может угаснуть; конфликта между эллином и варваром, дисциплинированным и недисциплинированным характером, созидательной и разрушительной душой. Пусть этот конфликт снова станет отчаянным, и мы поймем. Но небольшое упражнение воображения позволило бы нам понять это сейчас. Сейчас мы вряд ли понимаем. Мы с холодным изумлением отмечаем страстный акцент, с которым греки снова и снова повторяют себе: *"Ничего лишнего!"* как будто оно наполнено всей мудростью и человеческим комфортом. Мы понимаем, что говорят эти слова; мы не понимаем, что они означают.

Объяснение очевидное. Греческий лозунг нас не вдохновляет, потому что он нам не нужен. Мы не боимся стимулов и возбуждения, потому что лучше контролируем свои страсти, потому что мы более основательно подчинили варварство внутри себя, чем греки. По крайней мере, нашим чувствам приятнее выражать это таким образом, чем говорить об “этом нашем ужасном художавом времени”. Греки, с другой стороны, дико боялись искушения, не столько по пуританским причинам, сколько по более тонким, чем благоразумные, соображениям. Может показаться немного банальным повторять это, но — у них был артистический темперамент. Они обладали исключительной впечатлительностью и чувствовали очень практическую необходимость (по крайней мере, столь же важную для художника, как и для пуританина) безмятежности в эпицентре бури. *Ветер, наполняющий мои паруса, приводит в движение; но я рулевой* - таков образ Мередит. Однажды я собрал большое количество материала для исследования греческого темперамента. Я просматривал его снова и нахожу иллюстрацию за иллюстрацией впечатлительности, соперничающей с впечатлительностью самых крайних романтиков. Трудно оценить эти свидетельства. Совершенно очевидно, что они полны преувеличений и предубеждений. Если бы вы поверили ораторам друг о друге и о современных политиках, вы бы подумали, что Афинами четвертого века управляли исключительно сумасшедшие преступники. Не намного лучше обстоят дела и с историками, писавшими в ту эпоху, поскольку они заражены очень дурным примером риториков. Но совокупный эффект ошеломляющ, и он достигается в такой же степени, если не в большей, небольшими полусознательными указаниями, простыми жестами и случайными фразами, как и записями об истерической эмоциональности и багровых грехах. Разве вы не помните, как у Гомера люди при встрече обычно заливаются слезами и, если бы что-то не случилось, могли бы (говорит поэт) плакать до заката? Они плачут не так часто от горя — если только не от той памятной печали, которая является своего рода радостью, — как от радости от возобновления дружбы или просто для того, чтобы облегчить свои чувства. Фразу, использованную Гомером для описания окончания таких причитаний, он также применяет к людям, которые только что полностью насладились едой. В ней есть чувственный элемент. Конечно, кто-то бормочет “южный” или (Примечание 110) “латинский темперамент”; но если бы мы лучше понимали латинский темперамент, мы смогли бы найти больше смысла в этом предупреждении *Ничего лишнего!*

Друг спросил Софокла: “Как ты относишься к любви, Софокл? Ты все еще готов к любовной встрече?” “Не стоит благодарности, парень; я только что ускользнул — и очень рад этому — чувствуя себя так, словно вырвался из плена свирепого безумца.” Безусловно, Софокл был поэтом и обладал поэтическим темпераментом, и было бы странным незнанием человеческой природы делать какие-либо выводы о его характере из олимпийской безмятежности его искусства. Но послушайте этот анекдот об обычном молодом человеке. *Леонтий, сын Аглая, поднимался из Пирея в тени Северной стены с внешней стороны, когда увидел несколько трупов, лежащих у ног общественного палача. Он хотел взглянуть на них, но в то же время испытывал отвращение к самому себе и пытался отстраниться от всего этого. Какое-то время он боролся с собой и прикрывал глаза. Однако его желание взяло верх, он буквально разлепил веки и, подбежав к мертвым телам, сказал: “Вот вы где, черт бы вас побрал; насытитесь прекрасным зрелищем!”*

Оба анекдота взяты у Платона и могут послужить предупреждением, когда у нас возникнет искушение подумать, что он слишком суров к эмоциональным элементам души. Он знал об опасности, потому что чувствовал ее сам, потому что понимал греческий темперамент — лучше, например, чем Аристотель. Несомненно, в Платоне есть аскетическая жилка, как и в каждом

моралисте, который принес миру хоть какое-то благо. Но греческий аскетизм - это настройка инструмента, а не (Примечание 111) умерщвление плоти. Это просто тренировка или дисциплина, которые так же необходимы для достижения успеха в искусстве или спорте, как и для достижения успеха в добродетели. Греческие слова — askêsis, aretê - нивелируют эти различия.

Это высокое напряжение является естественной реакцией духа, столь тонко и богато одаренного, каким был грек, на давление сильных чуждых сил. Если напряжение ослабевало или спадало, результат был таким, как вы могли бы ожидать; происходила предельная вспышка, подобная ракете. Другие, так же как и я, возможно, задавались вопросом о том, какие формулировки мы находим у греческих писателей относительно “тиранов”. Выраженный ужас не просто условен или наивен, как в детском учебнике истории, он реален и глубоко прочувствован. Опасность тирании, конечно, была очень актуальна в большинстве греческих государств, даже в Афинах. Но в сознании лучших греческих писателей речь идет не столько об опасности страданий, сколько об осуществлении тирании. Тиран - это проклятая душа. В темноте его поджидают “некие огненно выглядящие” дьяволы и Эринии, Мстители за Кровь. Тиран - это завершённое воплощение человеческой порочности.... Что ж, возможно, так оно и есть. Но нам никогда не следует думать о том, чтобы придавать тирану столь особое превосходство над любым другим типом преступников. И все же чувства греков кажутся вполне естественными, когда мы размышляем о том, что само определение тирана - это такое определение, которое ставится выше закона и, следовательно, не связано никакими внешними обязательствами по самоограничению, без которого средний грек очень быстро и ярко отправился к дьяволу.

Был, например, Александр принц Ферайский, о котором Шекспир читал у своего Плутарха. У Александра была привычка хоронить людей (Примечание 112) заживо или заворачивать их в шкуры медведей или кабанов; он охотился на них с собаками. Он освятил копье, которым убил своего дядю, увенчав его гирляндами и принося ему жертвы под именем Тихона, непристойного бога. Этот самый Александр однажды присутствовал на представлении "Троянских женщин" Еврипида, и был настолько переполнен своими чувствами, что поспешил из театра, оставив сообщение исполнителю главной роли, в котором объяснялось, что он не одобряет актерскую игру, но ему стыдно показывать людям, как он, который никогда не проявлял ни малейшей жалости к своим жертвам, плачет над Гекубой и Андромахой. *Что такое Гекуба для него, или он для Гекубы, что он должен оплакивать ее?*

Возможно, об Александре можно было бы сказать то же, что Раскин (говоря, как он уверяет нас, после должного обдумывания) об Адаме Смите, - что он был “в совершенно проклятом состоянии души”. Было бы легко умножить примеры, подобные этому ферейскому, но еще легче вызвать у читателя отвращение к ним. Тогда я возьму более мягкий случай (в своем роде более поучительный, чем большая часть патологии), который имеет для нас двоякую ценность, поскольку он полон человеческого и патетического интереса и в то же время отражает, тем более если в нем есть легендарные элементы, популярное представление о настроениях тирана. Это трагедия Периандра, владыки Коринфа. Послушайте коринфянина Сосикла у Геродота.

Когда Кипселос правил тридцать лет и счастливо закончил свою жизнь, ему наследовал его сын Периандр. Периандр поначалу был мягче своего отца, но впоследствии с помощью

гонцов присоединился к тирану милета Фрасибулу, и стал еще более кровавым, чем Кипселос. Ибо он послал вестника к Фрасибулу и спросил, как ему безопаснее всего привести дела в порядок и наилучшим образом управлять Коринфом. Фрасибул вывел посланца Периандра из города и, войдя в кукурузное поле, пошел по нему, задавая глашатаю один вопрос за другим по поводу своего приезда из Коринфа. И всякий раз, когда он замечал колос, превосходящий остальные, он срывал его и, таким образом портя, сбрасывал вниз, пока таким образом не уничтожал самую красивую и высокую часть урожая. И, пройдя поле боя, он отсылает герольда, не дав ему ни слова совета. Когда герольд вернулся в Коринф, Периандр пожелал узнать совет. Но другой сказал, что Фрасибулосу ничего не ответили, и что он удивлялся ему, к какому человеку он его послал, к человеку, выходящему из себя и разоряющему его собственное имущество; рассказывая о том, что, как он видел, сделал Фрасибулосу. Но Периандр, понимая суть происходящего и понимая, что Фрасибул посоветовал ему убить самого выдающегося из граждан, затем проявил всевозможные злодеяния по отношению к коринфянам. Все, что Кипселос оставил незавершенным своими резнями и изгнаниями, Периандр исполнил. И в один прекрасный день он раздел догола всех женщин Коринфа ради своей жены Мелиссы. Ибо, когда он отправил гонцов к реке Ахерон в Теспотию, к тамошнему Оракулу Мертвых, чтобы узнать о сокровище, спрятанном незнакомцем, явился призрак Мелиссы и сказал, что она не будет указывать, в каком месте было спрятано сокровище; ибо она была замерзшей и нагой, поскольку ей негодились одежды, которые были похоронены вместе с ней, поскольку они не были сожжены; и в доказательство того, что ее слова были правдой, у нее было тайное послание для его ушей.... Когда об этом сообщили Периандру (ибо тайна заставила его поверить, поскольку он имел отношение к Мелиссе, когда она была мертва), сразу же после того, как он приказал объявить, что все жены Коринфян должны прийти в храм Геры. И когда они пришли, одетые в свои самые богатые одежды, как для священного пира, он поставил у них на пути своего телохранителя и раздел их всех, как рабов, так и свободных, и, собрав всех в ров, сжег кучу с молитвой Мелиссе. И когда он сделал это и послал к ней во второй раз, призрак Мелиссы рассказал ему, где она спрятала сокровище незнакомца.

Периандрос убил Мелиссу. После ее смерти, как я расскажу, его постигло другое бедствие, говорит Геродот. У него было два сына от Мелиссы, одному семнадцати лет, а другому восемнадцати. Отец их матери Прокл, тиран Эпидавра, послал за ними в свой замок и ласково умолял их, что было естественно, поскольку они были детьми его дочери. Но когда он прощался с ними, он сказал: “Знаете ли вы, дети мои, кто убил вашу мать?” На это высказывание старший не обратил внимания, но младший, которого звали Ликофрон, услышав это, был так тронут— бедный юноша, —что, приехав в Коринф, он ни словом не обмолвился своему отцу, считая его убийцей своей матери, не захотел ни разговаривать с ним, ни отвечать ни на какие вопросы. И, наконец, Периандр в великом гневе выгнал его из дома. И после того, как он выгнал его, он спросил старшего сына, о чем говорил с ними их дядя. И он сказал своему отцу, что Проклес принял их любезно, но не упомянул о той речи Проклеса, которую он произнес при их уходе, поскольку не запомнил ее. Но Периандр заявил, что это никоим образом невозможно, но что он дал им кое-какой совет, и подробно расспрашивал юношу, пока тот не вспомнил и не рассказал и об этом. И Периандр, понимая суть дела и решив ни в чем не уступать слабо, послал гонца к тем, у кого жил сын, которого он изгнал, и запретил им принимать его у себя. И всякий раз, когда странник приходил в другой дом, его изгоняли и из этого, Периандр угрожал тем, кто его принимал, и приказывал

им выставить его вон. И он стал бродить от дома к дому своих друзей, которые, несмотря на весь свой страх, принимали его, видя, что он был сыном Периандра. Но в конце концов Периандр приказал объявить, что всякий, кто примет его в своем доме или заговорит с ним, должен уплатить такое-то священное наказание Аполлону. Поэтому из-за этого заявления ни один мужчина не захотел заговорить с мальчиком или дать ему приют. Более того, он и сам не пытался получить то, что было ему запрещено, но терпел все, бродя по общественным портикам. На четвертый день Периандр увидел его немывшим и истощенным из-за недостатка пищи, и его охватила жалость, и, немного сменив гнев, он подошел и сказал: “Сын мой, что лучше: жить так, как ты живешь сейчас, или принять мое господство и то хорошее, что принадлежит мне, примирившись с твоим отцом? Но ты, мой сын и князь богатого Коринфа, избрал бродячую жизнь, противостоя и выказывая гнев против того, кого тебе меньше всего следовало бы ненавидеть. Если в этом деле произошел несчастный случай, то то же самое случилось и со мной, и я принимаю в этом большую долю участия, поскольку это был мой поступок. Но понимая, насколько лучше, когда тебе завидуют, чем жалеют, и в то же время, каково это - гневаться на тех, кто породил тебя и сильнее тебя, возвращайся домой”. Этими словами Периандр попытался удержать своего сына, но тот ничего другого не ответил, кроме того, что его отец навлек на себя священное наказание бога, вступив с ним в разговор. И Периандр, видя, что вражду его сына невозможно ни уладить, ни преодолеть, отсылает его с глаз долой на борту корабля в Коркиру, ибо он тоже был хозяином Коркиры. Но после того, как он расправился с ним, Периандр предпринял экспедицию против Прокла, своего тестя, обвиняя его главным образом в случившемся, и захватил Эпидавр, а самого Прокла взял живым.

Но со временем Периандр состарился и понял, что больше не способен присматривать за делами и управлять ими. А потому он послал в Коркиру и призвал Ликофрона к тирании; ибо он ничего не видел в своем старшем сыне, но считал его несколько туповатым. Но Ликофрон даже не ответил гонцу. Но Периандр, который был привязан к молодому человеку, предпринял вторую попытку, послав свою собственную дочь, сестру Ликофрона, думая, что он охотнее послушает ее. И когда она пришла, то сказала: “Дорогой Ликофрон, неужели ты хочешь, чтобы наша светлость перешла к другим, а состояние твоего отца было разбросано по всему миру, вместо того чтобы уехать и завладеть им самому? Возвращайся домой; перестань наказывать себя. В гордом сердце мало пользы. Не излечивай одно зло другим. Многие предпочитают милосердие справедливости; и многие до сих пор, стремясь к тому, что принадлежало их матери, теряли то, что было у их отца. Тирания - скользкая штука, и многие тянутся к ней так долго; а сейчас он старик, и его расцвет миновал. Не отдавай то, что принадлежит тебе, другим”. Это были ее слова, которым отец научил ее как самым убедительным. Но Ликофрон ответил, что он ни в коем случае не приедет в Коринф, пока будет знать, что его отец жив. Когда она привезла этот ответ, Периандр посылает третьего гонца, вестника, с предложением самому отправиться в Коркиру и приказом Ликофрону прибыть в Коринф, чтобы сменить его на посту тирании. Юноша согласился на эти условия, и Периандр отправился в Коркиру, а принц - в Коринф, когда коркиряне, узнав обо всем этом, чтобы Периандр не пришел в их страну, предали юношу смерти. Поэтому Периандр отомстил коркирийцам.

Месть старика заключалась в том, что он отправил триста мальчиков из знатных семей Коркиры великому лидийскому царю Алиятту, чтобы они стали евнухами.... Гуманная уловка саамов лишила его возможности отомстить. Одиноким стариком, с налетом изначального благородства,

которого теперь нет, с черной беспросветной яростью в сердце, с любовью, превратившейся в нечеловеческую ненависть ко всему миру, одетый в эту несовскую рубашку раскаяния и отчаяния! *Такова тирания*, говорит Сосикл в конце своей речи, *Такова тирания, о лакедемоняне, и таковы ее последствия*.

Периандр, видите ли, уже стал типом. Есть любопытная уместность в применении к этим старым “тиранам” затасканной цитаты из *"Тщеты человеческих желаний"* — они действительно очень точно указывают на мораль и украшают сказку. Мораль, на которую они указывают, заключается в опасности потерять *Софросину*. В *"Республике"* Платона есть замечательное описание генезиса тирана, описание, которое может поразить нас силой чувств, которые в нем затрагиваются. Это история постепенной потери Софросинии, заканчивающейся совершенным вырождением и потерей всех остальных добродетелей. Эта Софросина (одна из главных греческих добродетелей и наиболее характерная из всех) предстает перед нами в начале любого изучения эллинского темперамента. Понять одно - значит понять другое. Полное понимание, конечно, невозможно, но мы можем подходить все ближе и ближе к тайне.

Софросинья - это “спасительная” добродетель. Это мало что значит — или вообще ничего, — пока не окутано красками греческого темперамента и не рассмотрено с точки зрения греческого отношения к жизни. Что ж, греческое отношение к жизни — как бы нам это описать? Я собираюсь описать это фразой, которая, по крайней мере, достаточно точна, чтобы значительно помочь в нашем обсуждении: он рассматривает жизнь как *Агон*, а под Агоном понимается весь спектр действий от самых до наименее героических, от самых до наименее духовных, состязание или конкуренция. Читатель простит вам кажущуюся педантичность в этом, поскольку это слово нуждается в тщательном переводе. Теперь мое предположение состоит в том, что этот *агонистический* взгляд на жизнь, если можно так выразиться, пронизывает и характеризует всю классическую древность. Чтобы ясно понять природу Агонии, мы должны твердо помнить о ее происхождении. Конечно, было бы неверно называть его происхождение религиозным — как будто людям нужно быть религиозными, чтобы сражаться! — но нельзя отрицать, что его корни уходят в ту примитивную жизнь, которая в такой степени подчинена религии и магии. Как следствие, древний Агон почти всегда был религиозной церемонией. Современному взгляду это кажется достаточно любопытным, но нет ничего более определенного. Великие национальные игры, такие как Олимпийские, рапсодические и музыкальные состязания, Аттическая драма (которая, в частности, представляла собой Агон) — все они были окутаны этой религиозной или сверхъестественной *аурой*. И когда кто-то заглядывает в самую греческую религию, то повсюду находит в качестве ее характерного выражения хоровой танец, который обычно принимает форму реального или имитационного состязания между двумя сторонами или “полухорами”.

Мотив Агона тогда отличался от мотива обычного современного соревнования. Обычно это было *ритуальное* состязание, а его мотивом были *религиозные* мотивы. Оно проводилось не ради него самого, как футбольный матч, а с определенной целью. Этот объект греки называли *Нике*, что мы переводим — достаточно неадекватно, как явствует из рассмотренных нами фактов, — как “победа”. Считалось, что это не столько личное отличие, сколько благословение для всего сообщества. Оно обладало магической силой. Было даже ощущение, что в древний период победили все. Не покажется экстравагантным и утверждение, что греческое общество, подобное первобытному обществу, только гораздо более богатое, сложное, значимое и духовное, было организовано для производства Ники.

Это большое дело. Разумеется, нет необходимости в накоплении подробностей, чтобы доказать, что Агон был наиболее характерным институтом древней жизни; на это нужно только указать; повсюду мы находим эти состязания. Что может нас больше всего заинтересовать на данный момент, так это то, что Агон был просто внешним выражением характерного греческого взгляда на жизнь и на всю человеческую (Note 120). Ибо грек смотрел на саму жизнь как на борьбу, Агонию, возможность для создания Ники. Мистер Уэллс дает одному из своих эссе название “Приключение человека”. Жизнь как человеческое приключение очень хорошо выражает отношение греков к ней. Только давайте не будем забывать, что Ника, которая является целью и оправданием каждого Агониста, является — я уже отмечал это - чем-то совершенно, качественно отличным от простого успеха. Это триумф Дела. “Успех” — “успешный деловой человек” — не такого рода успех.

Все помнят, что самый успешный человек в Греции был вознагражден маленькой гирляндой из дикой оливы. *Помоги нам Бог, Мардоний, — сказал знатный перс, услышав это, - что это за люди, против которых ты привел нас сражаться! - люди, которые сражаются не за деньги, а за заслуги.* Отдельный грек мог достаточно сильно нуждаться в деньгах, о чем можно судить по забавным, но сатирическим персонажам Теофраста. И все же в душе Эллады, при всем ее сильном чувстве реальности и несмотря на некоторую склонность к алчности, наконец-то можно найти то, что можно было бы назвать почти донкихотством. Разве в каждом высоком приключении нет какого-то элемента донкихотства? А какое приключение может быть выше, чем сражаться за “прекрасное”, за *Та Кала*, против превосходящего численностью варвара?

Софросинья - это добродетель, которая “спасает” в этой битве. Поймите это так, и вы должны разделить часть того пыла, который внушало это слово. Это означает постоянный контроль и направление всей энергии человека. Это означает дисциплину. Это означает концентрацию. Это ангел, оседлавший вихрь, возникший, управляющий дикими лошадьми. В английском языке для этого нет (Примечание 121) слова, и мы должны хладнокровно переводить “умеренность”, “воздержанность”, “самоограничение”. “Умеренность” - вот название для этого мощного, торжествующего явления! Почему даже позднеорожденный, неромантичный Аристотель, даже когда он описывает Софросину как “среднее” между чрезмерной и недостаточной эмоциональностью, уклоняется в сторону, чтобы заметить, как вещь почти слишком очевидную, чтобы нуждаться в указании, что “в некотором смысле Софросина является *крайностью*”. Это Та, кого Данте узрел на горе Чистилище такой, какой “никогда не видели в стеклах для обжига или металлах, столь раскаленных и красных”:

giammai non si videro in fornace

vetri o metalli sì lucenti e rossi.

(Примечание 122)

БОГИ И ТИТАНЫ

Существовала древняя гипотеза, что Боги - это всего лишь обожествленные люди. Это предположил некий Эвemerос. Его любимой иллюстрацией был Зевс; этот величайший из Богов, по его словам, был доисторическим царем Крита, о чем свидетельствуют критские легенды о нем. Эта теория получила новую жизнь благодаря исследованиям современных ученых. С исторической точки зрения она, по-видимому, в значительной степени верна; психологически она вообще ничего не объясняет. *Все люди нуждаются в Богах*, говорит Гомер; религиозный инстинкт - вот что важно, или, скорее (поскольку другое тоже важно), это фундаментальная вещь. Это также предшествующая вещь, пружина религиозного акта. Если я хочу знать, почему первобытные люди делают бога из одного из своих соплеменников, то, похоже, нет ответа, который убедил бы меня в том, что они это делают. Тем не менее, историческое исследование также представляет большой интерес и проливает тусклый и довольно зловещий свет на развитие религии и религиозной мысли. И я не мог оставить нетронутым такой важный аспект древнегреческой жизни, как вера в богов, не проиллюстрировав, как и здесь проявился конфликт греков и варваров.

Буквально на днях мы заново открыли для себя (Примечание 123) древнюю эгейскую религию — незапамятно древнюю религию негреческих народов, варваров, которые жили около Эгейского моря. Теперь ясно, что хетты, фригийцы и вообще древние народы Анатолии поклонялись своего рода триаде Отца, Сына и Супруги. Иногда, как в хеттских скульптурах, Отец и Сын кажутся важными членами группы; иногда, как во фригийской религии, акцент делается главным образом на Матери, Супруге и Сыне. Но всегда можно обнаружить и третьего участника, который довольно явно стоит на заднем плане. На доисторическом Крите (который, конечно, стал греческим в исторические времена) мы снова узнаем божественную Троицу в лицах тех местных божеств, которых греки научились называть Кронос, Рея и Зевс. Это скелет старой религии; живая плоть, в которую она была облачена, была порождена племенным обычаем. Первобытные народы создают своих богов по своему образу и подобию. Своего главного бога они считают более великим и почитаемым “царем”, находящимся во власти страстей, соблюдающим этикет и носящим регалии своих земных правителей. Теперь первобытный царь удерживал свое место силой, или хитростью, или ужасом перед своим гневом (его *менос*) - и никаким другим владением. Он жил в постоянном страхе перед соперником, который, будучи моложе и сильнее, однажды восстанет против него и захватит его трон. Соперником мог быть незнакомец, но чаще всего это был родной сын короля, который, во-первых, считался способным унаследовать магические способности своего отца. Соответственно, когда родился Молодой король, Старый король хотел покончить с собой. Но там он мог бы столкнуться с противодействием королевы, (Примечание 124) которая попыталась бы доставить ребенка в безопасное место. Затем, наконец повзрослев, Принц внезапно возвращался, чтобы вызвать Старого короля на смертный бой. Боги ведут себя именно так.

Главным хранилищем народных верований о богах в Древней Греции является любопытная поэма, приписываемая Гесиоду, под названием "*Теогония*". Наряду с некоторыми отрывками из Гомера, она составила то, что можно было бы назвать руководством по ортодоксальности, и с несравненной авторитетностью рассказывает нам, чем было священное предание.

Древнейшей из всех, говорится в *Теогонии*, была Гея, или Мать-Земля, богиня. Теперь она обнажила первого звездного Урана, равного себе, чтобы он мог прикрыть ее со всех сторон ... и после этого она легла с ним и обнажила глубокое тело Океаноса, и Кея, и Кривоса, и Гипериона, и Япета, и Теу, и Рею, и Фемиды, и Мнемозины, и Фиби с золотом на голове, и прекрасной Тефиды. И после них родился младший Кронос - Кривоумный, самый опасный из ее сыновей, который ненавидел своего похотливого зачинщика. Более полный отчет есть в другом месте. Затем от Геи и Урана родились трое сыновей, огромных и буйных, которых трудно было назвать Коттос, Бриареос и Гигес, надменные. С их плеч свисала сотня непобедимых рук, а на их плечах, на их грубых телах росли головы, по пятьдесят голов на каждой; непреодолимая сила венчала гигантские формы. Из всех детей Геи и Урана больше всего боялись этих, и их с самого начала возненавидел их Отец; да, как только кто-то из них рождался, он не выпускал их на свет, но прятал их всех в укромном месте под Землей, и Уран гордился своей дурной работой. И, оказавшись стесненной, огромная Гея внутренне застонала; и она придумала жестокое средство. Она поспешно выковала серый кремнь, вылепила из него могучий Серп и изложила свою мысль Сыновьям, произнося жгучие слова, исходящие из измученного сердца. "Сыновья мои и несправедливого Отца, если выслушаетесь меня, то сможете отомстить своему Отцу за его греховное оскорбление, ибо именно Он начал замышлять постыдные поступки!"

Так сказала она, но страх охватил их всех, я думаю, ни один из них не произнес ни слова. Но могущественный Кронос Хитрый воспрянул духом и снова обратился к своей доброй Матери. "Мать, я возьмусь за это дело и выполню его, поскольку от имени нашего Отца ('Отца!') Я не верю, ибо именно Он начал замышлять постыдные дела!" Так сказал он, и могучая Гея очень обрадовалась в сердце своем, и спрятала его в засаде, и вложила в его руки острозубый Серп, и научила его всему заговору.

Великий Уран пришел с наступлением ночи и широко раскинулся над Геей, желая ее, и широко распростерся на ней. Но тот, другой, его Сын, протянул левую руку из своего укрытия ... и, схватив правой рукой чудовищный клыкастый Серп, он быстро собрал внутренности своего Отца и отбросил их, чтобы они упали позади него.

Называя эту историю варварской, я чувствую, что должен извиниться перед варварами. Тем не менее, это явно больше в их стиле, чем в стиле греков. Это превосходно иллюстрирует тот материал, из которого извлекла себя греческая религия. Вы увидите, что это древний дикий материал о битве между царями. В данном случае именно Молодой Король одерживает верх и сталкивает Старого Короля с его трона — не для того, чтобы умереть (ибо он был Богом), но для того, чтобы (Примечание 126)жить призрачной, стихийной жизнью. Но и Кронос не смог избежать своей судьбы. Ибо Рея, покоренная Кроносу, родила сияющих детей, даже Гестию, и Деметру, и закованную в золото Геру, и сильного Гадеса, это безжалостное сердце, обитающее под землей, и ревущего Сотрясателя Земли, и Зевса Многовещательного, Отца Богов и людей, от грома которого сотрясается широкая земля. Они также — великий Кронос имел обыкновение проглатывать их, когда каждый выходил из утробы Матери на колени своей святой Матери, с намерением, чтобы никто другой из гордой расы Урана не занимал господства среди Вечно Живущих. Ибо он знал от Геи и звездного Урана, что ему суждено погибнуть из-за собственного ребенка.... Поэтому он не следил за слепцом, но искал своих детей и проглатывал их; но Рея горевала и не хотела утешаться. Но когда она была близка к тому, чтобы произвести на свет Зевса, тогда она молила своих дорогих

родителей, Гею и звездного Урана, разработать план, с помощью которого она могла бы тайно выносить своего Сына, и Кронос-Хитроумный Мыслитель - воздаст за своего отца и его детей, которых он пожирал. И они действительно прислушались к своей дочери и повиновались ей, и рассказали ей все, чему было суждено случиться с королем Кроносом и его храбрым Сыном. И они перевезли ее в Луктос на тучной земле Крит, когда она собиралась родить младшего из своих сыновей, великого Зевса. Его гигантская Гея получила от нее на обширном Крите, чтобы лелеять и нянчиться с ним. Туда пришла Гея, неся его сквозь стремительную черную ночь, сначала в Луктос; и она взяла его на руки и спрятала в уединенной пещере, уединенной под прекрасной землей, там, где густой дикий лес на холмах Эгейона. Но она завернула большой Камень в пеленки и отдала его Сыну Урана, столь могущественного правителя, Древнему Царю Богов. И Кронос схватил его тогда своими руками и положил себе в живот без рут, и даже не подозревал в своем собственном уме, что за Камень его Сын был оставлен ему непобедимым и невредимым, который вскоре должен был одолеть его главной силой его рук, и изгнать его из владений, и самому стать Королем среди Вечно Живущих.

Ибо вскоре после этого могущество Юного Царя возросло, а его сияющие конечности стали еще больше, и, когда времена года подошли к концу, великий Кронос Хитрый был обманут тонкими намеками Геи и снова произвел на свет свое потомство; и сначала он извергнул Камень, который проглотил последним. Зевс посадил его там, где сходятся дороги мира, в добром Пифоне, под каменной стеной Парнаса, чтобы он был знамением и чудом для людей в грядущие дни.

Камень был там в полном порядке, поскольку французские экскаваторы обнаружили его, выглядевшим в высшей степени неудобоваримым. Но несправедливо относиться к Гесиоду в таком духе. На самом деле, читать у него такие отрывки, которые я процитировал, значит вызывать у себя совершенно другие эмоции. Существует любопытнейший конфликт между моральной и эстетической реакциями человека на них. У вас есть материал, который трудно назвать диким, который больше похож на некое атавистическое воскрешение зверя в человеке; и вы обнаруживаете, что он изложен в стиле, напоминающем какую-то устаревшую литанию, полную наполовину понятых слов и незапамятных припевов. Самый примитивно мыслящий поэт также является самым литературным поэтом в греческом языке, если под "литературным" понимать находящегося под влиянием традиции стиля. Он полон эпических клише, и он повторяет их беспомощно, безрадостно, как будто у него не было выбора в этом вопросе. Если вы хотите быть недобрым, вы можете (Примечание 128) описать его стиль как эпический жаргон. Но вы будете несправедливы, если не признаете определенного величия, проистекающего (как могло бы показаться) из самого его формализма. Даже в своем упадке эпический стиль остается величественной вещью. Певческие одежды Гомера выцвели и застыли, но они по-прежнему смутно великолепны, и именно благодаря золоту они кажутся жесткими. Поэт *Теогонии* — я без предубеждения называю его Гесиодом — носит их почти как священник. Но если вам нужно рассказать историю, подобную тем, что я процитировал, то какая другая манера возможна, кроме такого обычного, полурелигиозного стиля, который действует подобно заклинанию, пробуждая религиозные эмоции и приостанавливая критическое суждение? Я еще не совсем закончил с Гесиодом и хочу, чтобы читатель проявил немного больше терпения по отношению к нему и ко мне.

Прежде чем он был свергнут со своего трона, Уран, возненавидев своих Сыновей, Бриарея, Коттоса и Гиеса, *крепко связал их, завидуя их властной доблести, их красоте и статусу, и поселил их под широкой землей, где они сидели на краю света и на предельной окраине, в великой скорби и негодовании разума. Нейтлесс, Сын Кроноса, и остальные бессмертные Боги, которых темноволосая Рея родила в браке с Кроносом, снова вывели их к свету по совету Геи, которая рассказала им всю историю о том, как они одержат победу и яркую славу с их помощью.* В другом месте мы читаем, что Бриареос, Коттос и Гиес были благодарны за эту добрую службу и дали Зевсу гром, и горящую стрелу, и вспышку молнии, которые некогда скрывала обширная Гея; на них он возлагает свое доверие, поскольку правит смертными и бессмертными. (Примечание 129) Они потребовались ему почти сразу в его битве с Титанами. Слово “Титаны”, по-видимому, означает не больше и не меньше, чем “Короли”. Это были Старые цари, воевавшие с Молодыми царями (которых, поскольку они жили на горе Олимп в Фессалии, стали называть “олимпийцами”) во главе с Зевсом. Естественно, Древние цари приняли сторону Кроноса, но после десятилетней войны они были разбиты в ужасающей битве, и Зевс воцарился безраздельно. И тогда как мы находим его поведение? Вот так. *И Зевс, царь Богов, взял в жены первую Метис, которая была мудрейшей из Богов и людей. И когда она действительно собиралась произвести на свет голубоглазую богиню Афину, он обольстил ее хитрыми словами и положил себе во чрево, по совету Геи и звездного Урана, которые посоветовали ему так, чтобы кто-нибудь другой из вечно живущих Богов не получил власть вместо Зевса, ибо от нее было суждено родиться самым мудрым детям, сначала ясноглазой Деве Тритогенее, равной по силе своему Отцу и мудрому пониманию, а после нее, я думаю, она была самой мудрой женщиной. родить благородного Сына - это значило бы стать Царем Богов и людей. Поэтому он схватил ее и положил к себе на живот, опасаясь, что она вынесет нечто посильнее Молнии.*

Теперь, конечно, греки когда-то верили в подобные вещи; иначе вы не услышали бы, как Гесиод торжественно повторяет это. Но они очень рано отказались от этого; и именно ранность и основательность их отказа позволяют им показать себя греками. Ибо окружающие варвары продолжали верить мифам, едва ли не менее отвратительным, и продолжали действовать в соответствии со своей верой; тогда как уже у Гомера вы находите протест греков. У (Примечание 130) Гомера об этом умалчивается; он просто выбрасывает мусор Гесиода. Но ионийские философы не молчали; более того, они включили в свое осуждение самого Гомера. Гераклит сказал, что Гомер заслуживает изгнания из собраний людей, и Архилох также. Ксенофан сказал: *Гомер и Гесиод приписывают Богам все, что вызывает скандал и поношение среди людей, — воровство, прелюбодеяние и обман друг друга.* Пиндар (очень нравственный поэт) возмущен предположением, что бессмертный бог стал бы есть вареного младенца. Естественно, однако, что поэты и философы подходили к мифам в ином духе, что привело к тому, что во времена Платона уже было “постоянной ссорой”. Философы вообще возражали против них; поэты сделали их настолько прекрасными в своем повествовании, что они вышли за пределы сферы моралиста. Даже *Теогония* отчасти достигает благородства; даже в *Теогонии* процесс эллинизации воздействует на варварскую материю.

Однако мы будем лучше проинструктированы, если понаблюдаем за процессом у более позднего поэта и гораздо более великого художника. Так получилось, что “*Граница Прометея*” Эсхила, как и “*Теогония*”, имеет дело с отношениями между Старым царем и Новым. Драма, известная нам как “*Прикованный Прометей*”, является лишь частью того, что древние ученые называли трилогией, представляющей собой серию из трех пьес, развивающих одну тему; и мы

даже не можем быть уверены, первая это часть или вторая. Из других участников трилогии у нас есть лишь названия: *"Освобожденный Прометей"* и *"Прометей-Носитель огня"*. Большинство студентов сейчас склонны верить, что *"Огнестар"* получил свое название из-за того обстоятельства, что темой пьесы или частью ее темы было основание Прометея, или Фестиваля Прометея в Афинах, кульминацией которого был забег с факелами, в котором участвовали юные огнестары. Каждый год афинские эфебы, участвуя в эстафетах с зажженными факелами, соревновались, кто первым заново зажжет огонь на общем алтаре Прометея и Гефеста в Академии. Если это предположение относительно темы *Носителя Огня* справедливо, то мы можем быть уверены, что эта пьеса вышла последней в серии, потому что она прославляет триумф героя. Соответственно, обычно трилогии располагаются в следующем порядке: *Связанный Прометей, Освобожденный Прометей, Несущий огонь Прометей*.

В *"Связанном с Прометеем"* говорится о наказании Прометея Зевсом. Обычно говорят, что герой пьесы наказан за то, что он украл огонь, который Зевс спрятал, и даровал его смертным, которые до сих пор изображались нецивилизованными. В этой точке зрения есть определенная доля правды, поскольку в начальной сцене пьесы, когда Прометей пригвожден к своей скале, дьявол Кратос повторяет, что причиной этой пытки является кража огня. Но собственно тема *"Связанного Прометея"* - это не столько связывание Титана, сколько удержание его в узах; и причина продления его пыток совершенно иная, чем причина их начала. Новая причина - отказ Прометея раскрыть тайну, известную ему, но не Зевсу. Все, что знает Зевс, - это то, что однажды ему суждено быть замененным собственным сыном. Чего он не знает, и что знает Прометей, так это то, кто, должно быть, мать этого сына. На сокрытии и окончательном раскрытии этой тайны строится весь сюжет не только *"Связанного Прометея"*, но и *"утраченных пьес"* трилогии. Чтобы докопаться до истины, Зевс терпеливо мучает свою бессмертную жертву в течение трех мириадов лет, сам замученный старым династическим террором. Это повторяющаяся ситуация, когда *Теогония* обновляется еще раз.

Такой грубый материал лежал перед Эсхилом. Но и его гений, и его время требовали от него обращения, отличного от того, которое удовлетворяет нас в архаической хронике Гесиода. Гений афинского поэта, конечно, по своей сути драматичен, и он жил в эпоху, когда пробудилась потребность в том, что я буду просто называть лучшей религией. Поэтому он выбрал тему Прометея и поэтому отнесся к ней драматично. Теперь для поэта и его аудитории наиболее драматичным является или должно быть то, что ощущается ими как наиболее человеческое; а наиболее человеческим является просто то, что для них наиболее живо и реально; ибо драма направлена на иллюзию реальности. Таким образом, Эсхил не мог справиться со своим делом с иератической простотой *Теогонии*. Проблемы не могли быть такими простыми для драматурга, потому что в реальной жизни они никогда не бывают такими простыми. Если бы Эсхил хотел сделать Прометея своим героем, он должен был бы вызвать в нем "сочувствие". И так, в *"Связанном Прометее"* он это делает; Прометей вызывает у всех нас сочувствие, в то время как Зевс предстает тираном в современном, а не только в древнем смысле этого слова. Но это еще не решение вопроса. Мы знаем, что в последней пьесе трилогии мучитель и имитированный примирились. Для бескомпромиссного Шелли это было невыносимо, и поэтому он написал своего "Освобожденного Прометея". И почти каждый, кто в наше время писал на эту тему, какие бы объяснения или извинения он ни выдвигал в защиту Эсхила, в глубине души желал, чтобы грек чувствовал себя так же, как англичанин.

То, что он этого не сделал, - это как раз та любопытная и сбивающая с толку вещь, которую мы хотели бы объяснить.

Традиция, конечно, имеет большое значение. Эсхил не выдумывал свою историю. Он обнаружил, что она уже существует, и обнаружил, что она определенным образом заканчивается. Мы не можем сказать, закончилось ли все именно так, как представлял Эсхил. Но мы можем быть совершенно уверены, что это не закончилось безоговорочной победой Прометея. Традиция, по-видимому, категорически против него. Следовательно, Эсхил был до сих пор связан этим. Затем проблема предстала перед ним с еще большим усложнением, заключавшимся в том, что, как известно, *сейчас* справит Зевс. Таким образом, оправдание Зевса против мятежного Титана становится оправданием морального управления вселенной. И все же, хотя Эсхил чувствовал сдержанность мифа и сдержанность морального вопроса, следует полагать, что он подчинился им с полным и даже страстным принятием. Как великий художник, как великий драматический поэт, которым он является, он начинает с того, что излагает аргументы в пользу Прометея так убедительно, как только может — более убедительно, чем, казалось бы, позволяют существующие легенды, — и даже в конце Титан не лишен должной чести. Но в отличие от олимпийцев, Эсхил утверждает (как и греческие поэты в целом), что титаны были неправы. Грехом титанов было беззаконие. Прометей, даровав смертным дар огня, нарушил закон, запрещавший им его использование. Вопрос о том, были ли отношения Бога с человеком "справедливыми" или нет, должен был решаться не вашими чувствами (как рассудил Прометей), а холодным и взвешенным размышлением о том, что в конечном итоге было лучше для человечества, или, скорее, для Вселенной, столь малую часть которой они составляли.

Такая доктрина пугающе действует на современный дух. Но это в значительной степени потому, что мы так плохо понимаем, что это значит. *Трилогия "Прометей"* была инсценировкой конфликта Жалости и Справедливости, воплощенного в двух сверхчеловеческих волях. Прежде чем вы осудите решение Эсхила, возможно, вы обязаны ответить на вопрос, не является ли это тем конфликтом, который современный мир пытается разрешить кровью и слезами. В конце концов (так рассказывал древний поэт) Зевс, суровый Судья, научился милосердию, в то время как его страстный враг пришел к признанию верховенства Закона. Компромисс, если хотите; но если вы сожалеете об этом, это всего лишь означает, что вам жаль человеческой жизни. Осмелюсь предположить, что Эсхил тоже сожалел, но тогда он не собирался быть сентиментальным. В конце концов, жизнь *is* управляется компромиссом между Справедливостью и Жалостью. И если дело доходит просто до вопроса эмоциональных ценностей, разве человек не любит Прометея тем сильнее, что в конце концов ему, как и любому человеку, пришлось немного поступиться своим желанием?

Даже в этом случае мы не отдадим полной справедливости позиции Греции, пока не восстановим в наших умах греческие чувства по поводу закона, порядка, меры, ограничений — вещей, которые мы критикуем и, большинство из нас, принижаем. Для нашей цели мы должны принять эллинский парадокс. Вместе с греком мы должны понять, что по-настоящему романтичным было не дикое место, а вспаханное поле и ухоженный виноградник. И в сфере морали царствовали Умеренность, Самодисциплина, *Софросинья*; в сфере искусства строгие очертания, подавление излишеств наполняли грека приятным возбуждением, которое мы находим в экзотическом, грубом, жестоком, причудливом. Объяснение этому поразительно простое. Для древнего мира закон и порядок были исключением — диким, романтичным, едва достижимым исключением; в то время как нас они интересуют примерно так же, как пару

вареных картофелин. Мы за Открытую дорогу и где-то к востоку от Суэца. Но привлекательность тогда и сейчас совершенно одинакова. Это привлекательность незнакомого.

Мы могли бы лучше понять эллинский парадокс, если бы нам пришлось жить в неустроенной стране. Тогда мы почувствовали бы тот трепет, который пробудили в сердцах греков такие слова, как *Номос* и *Тесмос* и *Космос*, лозунги цивилизации. Мы должны понимать стремление найти ключ в лабиринте беззакония, спасительное правило, которое проведет человека через заросли отчаянного и унижительного замешательства. Но как бы то ни было, мы настолько окружены колючей проволокой правительственных постановлений и социальных условностей, что наши желания в основном сосредоточены на том, чтобы прорваться — прорваться, давайте признаем, лишь в небольшой момент и на совсем короткое время, поскольку мы действительно очень любим нашу тюрьму и заботимся о том, чтобы не задерживаться в ней надолго. Да, я думаю, приложив немного усилий, мы сможем понять. Мы можем поверить, что чувство дома сильнее всего у странника. Он странствует, чтобы найти (Примечание 136) свой дом, и когда он его находит, он не может сделать его “домашним” и достаточно обычным.

Таким образом, для древних греческая цивилизация имела привкус высокого и редкого приключения. Это был крестовый поход, завоевание варвара - варвара снаружи и внутри. Рассматриваемый в этом свете конфликт между Зевсом и Прометеем приобретает достаточно новый для нас аспект. Зевс олицетворяет Закон — несправедливый в данном случае, если хотите, несправедливый, как, возможно, сам Зевс в конце концов отчасти признал, — но все же Закон. Прометей олицетворяет Анархию. В этом он показывает себя поистине Титаном, ибо Титаны воплощали в себе беззаконные силы природы и недисциплинированную эмоциональность. Наши усталые души любят немного поиграть с этими развлечениями. Но греки только что сбежали от них и ужасно их боялись. Ничто так не любило изображать их искусство, как победа дисциплинированной воли — довольно типичной в Зевсе, идеально воплощенной в Афине - над раскованной страстью. Отсюда эти бесконечные картины, на которых олимпийцы сражаются с Титанами, с Гигантами, греки — с амазонками, Геракл, Тесей - с чудовищами. Это свидетельства духовной победы, одержанной бесконечной ценой.

Истинная тема трилогии "*Прометей*" - это господство Закона. Закон в сфере дел, *Софросинья* в морали, форма в искусстве. В этой доктрине нет ничего заурядного или негативного. Греческий дух не был прирученным или негативным; было бы трудно сказать, насколько это было не так! Действительно, вдохновением их вероучения было просто желание греков извлечь полную ценность из своих эмоций. Никто лучше не знал, какая опасность грозит человеку

(Примечание 137)

должен утратить разборчивость в своих радостях

Как бывает в битве, когда они нападают кучно,

Враг летит.

И с точки зрения искусства — всегда столь важного для них — правило “меры” становится искусством концентрации. Таким образом, Закон раскрывается как Красота. Как говорит Китс,

окончательным осуждением Титанов было то, что по сравнению с олимпийцами им не хватало Красоты:

Ибо первый по Красоте будет первым по Могуществу.

Таким образом, эволюция греческой религии - это в значительной степени художественный процесс. Было бы упрямо отрицать, что процесс, возможно, зашел, наконец, слишком далеко. Греческое искусство начинается почти как форма религии; греческая религия заканчивается почти как форма искусства. И все же было бы, конечно, еще более упрямо отрицать, что было приобретено больше, чем потеряно. Там была почерпнута, например, греческая мифология. И какие утраченные простота и искренность были с лихвой восполнены той греческой религией — уже не государственной, а индивидуальной, — которую мы находим у Платона и (как мы начали видеть) в столь значительной части Нового Завета?

Насколько и с каким огромным основанием греческий религиозный дух был духом красоты, преображающим варварство, едва ли можно было проиллюстрировать более точно, чем историей Геродота. Это повесть об Атисе, сыне Креза. Насколько она прекрасна, признает каждый читатель. Но насколько она поучительна, поймет лишь особо изучающий. Ибо он находит в этом безошибочные черты древнего мифа. *Атис*, блистательный, рано умирающий принц, которого Геродот, повторяя услышанную легенду, называет сыном исторического Креза, есть не кто иной, как *Аттис*, брат, сын и супруг — двусмысленность присутствует в мифе — Матери-Горы Фригии. Атис, убитый во время охоты на кабана, - это Аттис, который был охотником и едва отличался от Адониса. Этот вопрос подробно объясняется сэром Джеймсом Фрейзером в его книге "*Аттис, Адонис и Осирис*". Миф возник из поклонения азиатской богине, которую греки по-разному называли Кибеле, Кибебе, Рея и другими титулами, хотя на самом деле это было безымянное божество, святая Мать и Невеста, вышедшая замуж в нужное время года за своего сына Аттиса, чтобы его плоды могли обновиться с помощью магии этого ритуала. Недалеко от Сардиса был храм "Кибеле" — там, где Пактолос вырывается из своего горного ущелья, до сих пор стоят одна или две колонны. Это помогает объяснить, почему принц Сардиса вошел в ее миф. Возможно даже, что настоящие принцы Сардиса в древности раз в год олицетворяли супругу великой богини региона. Это, по крайней мере, согласуется с аналогией и лучше всего объясняет происхождение истории из Геродота. В остальном это фригийская легенда. Олимп, где охотятся на легендарного вепря, находился в Мизии, которая находилась во Фригии. Адраст, "Тот, от кого нет спасения", несомненно, связан с богиней Адрастеей, которой очень поклонялись во Фригийской Троаде. Прежде всего, именно во Фригии больше всего поклонялись Матери-Горе. Весной фригийцы вылепили изображение юного Аттиса и оплакивали его ритуальными панихидами, напоминая о его гибели. Таким образом, постепенно мы можем докопаться до корней мифа.

То, что мы там находим, вызывает ужас. Нана, дочь реки Сангариос, увидела миндальное дерево, выросшее из крови сына Кибеле, которого боги, испугавшись его силы, изувечили. (Вот снова гесиодовский *мотив*.) Она зачала и родила ребенка, которого выставила напоказ. Сначала его вскормили дикие козы, потом горные пастухи. Наконец Аттис стал таким красивым, что Агдистис (которая всего лишь разновидность Кибеле) полюбила его, а когда он не ответил на ее любовь, свела его с ума, так что он убежал в горы и там под сосной покончил с собой. Из его крови выросли фиалки, которые развесили по дереву.

Если бы не неожиданная сладость дикой фиалки и горной сосны в конце, история получилась бы на удивление непривлекательной. Но что действительно вызывает дрожь, так это осознание того, что история отражает факт. Жрецы Кибеле ... что я бы сказал, так это то, что они вели себя как Аттис.

Ни о чем подобном вы не догадались бы по Геродоту. Что случилось с мифом, что он превратился в изысканную и жалостливую историю, которую он рассказал? Мы можем только сказать, что он пострадал от греческой магии. Эллинский дух, грезящий о старом мрачном фэнтези, немного лишает его дикой, возмутительной красоты (которая должна была вновь появиться позже в "Atmice" Катулла), но сохраняет большую часть его естественной магии, а введение фигуры отца в подавляющем большинстве случаев усиливает драматическую ценность истории. Больше всего это погружает всех в удивительную правильность эмоций. Дар, позволивший достичь этого, является, как я уже намекал, драматическим даром; магия та же, что пронизывает Аттическую трагедию. Это настолько верно, что Повесть об Атисе у Геродота читается как греческая трагическая драма в прозе. Объяснение заключается в том, что древняя трагедия возникла из точно такого же ритуала, из которого возникла история Атиса. Эта история, насколько я знаю, никогда не становилась предметом настоящей драмы. Жаль. Какой темой это могло бы стать для Еврипида!

Мне кажется законной процедурой в эссе такого рода указать на сходство между рассказом Геродота и обычной структурой и методом Аттической трагедии, рассматривая повествовательные части рассказа как множество сценических указаний, а диалог - как мы относимся к диалогу в пьесе, приписывая каждую речь надлежащему говорящему. Позвольте мне только добавить, что все диалоги и практически все указания на сцену переведены буквально.

СМЕРТЬ АТИСА

[Место действия - Сарды в Лидии. Это густонаселенное поселение, состоящее из домов с тростниковыми крышами, сгрудившихся вокруг чудесной, отвесной, огромной скалы, увенчанной мощными стенами Цитадели. Напротив него, к югу, возвышается соседний хребет Тмолос, откуда вытекает знаменитый маленький ручей Пактолос, который, вытекая из ущелья, несет свой золотистый песок фактически через рыночную площадь Сардиса в Гермос. В нескольких милях отсюда, на берегу озера, видны огромные могильные холмы лидийских царей. Внутри Цитадели находится дворец предков Креза. Любой, войдя во дворец, заметил бы его необычное великолепие — повсюду серебро, золото и электричество. Он также был бы поражен тем обстоятельством, что на стенах большого Зала нет мечей, копий и колчанов, которые там было принято вешать. В настоящее время оружие сложено в женских покоях.]

Крез изображен одетым в огромную пурпурно-красную мантию и несущим длинный золотой скипетр, увенчанный маленьким золотым орлом. Его окружает телохранитель из копеечников, которые носят поножи и бронзовые нагрудники, а также шлемы, украшенные лошадиными хвостами.

Входит незнакомец в остроконечной шапке, расшитом платье и высоких сапогах фригийского аристократа с обнаженным мечом и с выражением поспешности и ужаса на лице. Увидев Креза, он не произносит ни слова, но, подбежав вперед, садится у

центрального очага дома, вонзает свой меч в пол и закрывает лицо. Таким образом, он сразу же признается, что он человекоубийца и что он желает отпущения своего греха. Король также молча подходит и пристально смотрит на этого человека. Затем он проходит сложный и неприятный ритуал очищения от кровопролития, громко взывая к Богу Просителей освятить обряд. Наконец-то он свободен задать вопрос Незнакомцу.]

Крез. Человек, сидящий у моего очага, кто ты и откуда пришел из Фригии? Какого мужчину или какую женщину ты убил?

Незнакомец. О царь, я сын Гордиаса, сына Мидаса, и зовут меня Адраст. Смотрите здесь на того, кто по несчастью убил своего собственного брата, а мой отец выгнал меня, и у меня отняли все.

Крез. Теперь ты среди друзей, ибо между нашими домами дружба. Здесь ты ни в чем не будешь нуждаться, пока ты живешь в моем доме. Постарайся забыть о своем несчастье; так будет лучше для тебя.

[Мужчина Адраст входит во Дворец вместе с Крезом. Тем временем прибывают некие посланцы. Это горцы, одетые в шкуры и несущие посохи, закаленные на острие огнем. Они родом с горы Олимп в Мизиу.]

Мисийцы. Господи, очень сильный вепрь явился на нашей земле, который опустошает наши поля, и мы никак не можем убить его. Итак, ныне мы умоляем тебя, пошли с нами твоего сына, отборных юношей и собак, чтобы мы могли изгнать его из этой земли.

Крез. Что же касается моего сына, то впредь не упоминайте о нем; я не пошлю его с вами, потому что он недавно женился и занят этим. И все же я пошлю избранных людей из лидии и всю охоту и строго-настрою поручу им очень ревностно помогать вам в истреблении зверя на этой земле.

(Входит юноша по имени Атис, сын Креза.) Одет он во многом по греческой моде, но с такими золотыми украшениями и цветочной вышивкой, какие подобают принцу Дома Мермнадов. Он услышал о молитве мисийцев и теперь умоляет своего отца разрешить ему поехать с ними.]

Atys. Отец, раньше, когда я отправлялся на битву, в погоню и завоевывал там почести, это было храбро и прекрасно. Но теперь ты отгородил меня одинаково и от войны, и от охоты, хотя и не заметил во мне никакой трусости или слабости духа. А теперь с каким выражением лица я должен показаться, входя в собрание народа или покидая его? Что подумают обо мне жители этого города и моя недавно вышедшая замуж жена? Каким мужем, по ее мнению, будет ее муж? Поэтому либо позволь мне отправиться на эту охоту, либо убеди меня, что твой путь лучше.

Крез. О сын, я делаю это не потому, что заметил в тебе трусость или вообще что-нибудь неприятное. Но видение сна пришло ко мне во сне и сказало, что жизнь твоя недолга; от железного лезвия ты погибнешь. Поэтому я настаивал на твоём браке, потому что я имел в виду это видение, и поэтому я не отправлю тебя на это предприятие, опасаясь, что каким-либо образом я смогу украсть тебя у смерти, пока я жив. Ибо ты мой единственный сын, не считая другого, немого.

Atys. Я не виню тебя, отец, за то, что, увидев такое видение, ты опекаешь меня. Но то, чего ты не видишь и не понимаешь значения этого в своем сне, соответствует тому, что я говорю тебе. Ты говоришь, что во сне было сказано, что я буду убит железным лезвием. Но кабан — какие у него руки или какое железное лезвие, которого ты так боишься? Если бы во сне упоминался бивень или что-то подобное, ты должен был бы поступать так, как поступаешь сейчас; но в нем говорилось об острье. Итак, видя, что я иду сражаться не против людей,пусти меня.

Крез. Сын мой, здесь ты убеждаешь меня своим толкованием сна. Посему, будучи таким образом убежденным тобой, я теперь меняю свое мнение и разрешаю тебе отправиться на охоту.

[The Король теперь посылает за Адрастом , и они говорят следующее.]

Крез. Адраст, когда тебя постигло ужасное несчастье (я не упрекаю тебя в этом), я очистил тебя от твоего греха, и принял тебя в своем доме, и снабдил тебя всем в изобилии. Итак, теперь (ибо ты обязан мне добротой) оберегай моего сына, который отправляется в погоню, чтобы злые воры не явились навредить тебе. Более того, и для тебя самого будет правильно, если ты отправишься туда, где снискаешь славу своими могущественными делами; ибо так поступали твои отцы до тебя; и, более того, ты могущественный человек.

Адраст. По другой причине, о царь, я бы не пошел на такое предприятие. Ибо не подобает и не желаю я, чтобы столь несчастный общался со своими счастливыми сверстниками; да, по многим причинам я бы воздержался. Но теперь, поскольку ты настаиваешь на этом и я обязан исполнить твое желание — ибо я обязан тебе отплатой за доброту, — я готов сделать вот что: твой сын, которого ты строго-настрого поручил мне охранять, ожидает, что ты вернешься домой невредимым, насколько я в состоянии охранять его.

Таким образом,продолжает Геродот, затем он дал ответ Крезу. И после этого они отправились в путь со слугами из избранных юношей и собак. И когда они пришли на гору Олимп, они начали искать зверя; и, найдя его, они встали вокруг него и метнули в него свои дротики. Тогда незнакомец, человек, который был очищен от пятен крови, даже тот, кого звали Адраст, метнул свое копье в кабана, но промахнулся и вместо него поразил сына Креза. И он, сраженный острием копья, исполнил изречение ночного видения. Но один из них побежал рассказать Крезу о случившемся; и когда он прибыл в Сарды, то рассказал ему о ходе битвы и убийстве его сына. И Крез, сильно обеспокоенный смертью молодого человека, жаловался еще яростнее, потому что тот был убит тем самым, кого он очистил от человекоубийства. И в пылу своего горя он громко воззвал великим и ужасным голосом к Зевсу Очищения, призывая его засвидетельствовать, какое воздаяние он получил от рук незнакомца; и более того, он назвал его Богом Домашнего очага и Богом Товарищества, назвав его первым именем, потому что, принимая незнакомца в свой дом, он невольно дал пищу и питье убийце своего ребенка, а вторым именем, потому что, отправив его со своим сыном охранять его, он теперь счел его своим злейшим врагом.

И вот пришли лидийцы, неся мертвое тело, а за ними следовал убийца. И он, стоя перед мертвым, сдался Крезу, простирая руки, приказывая ему убить его над телом, упоминая о своем прежнем бедствии и о том, что теперь он, кроме того, навлек гибель на человека, который очистил его, и ему не подобало жить. Крез, услышав, сжалился над Адрастом, хотя

и сам был в таком великом горе, и сказал ему: Гость, у меня есть все, что я могу требовать от тебя, поскольку ты приговариваешь себя к смерти. Не тебя я виню в этом зле, за исключением того, что ты был невольным его исполнителем; нет, но я думаю, что причиной является какой-то бог, который еще раньше показал мне, что должно произойти.

Затем Крез с честью похоронил своего сына. Но Адраст, сын Гордиаса, сына Мидаса, даже человек, убивший своего собственного брата и убивший сына того, кто смыл свое оскорбление, после того, как люди покинули гробницу и воцарилась тишина, считая в своем сердце, что из всех людей, которых он знал, он был самым пагубным, покончил с собой на могиле.

(Примечание 147)

VII

КЛАССИКА И РОМАНТИКА

Я

Когда Александр Македонский вторгся в Индию, этот ученик Аристотеля интересовался вопросами гимнасофистов, или местных философов. Старейшему из этих гимнасофистов (говорит Плутарх) он задал следующую головоломку: *Что старше — ночь или день?* Древний человек быстро ответил: *День длиной в один день.* Когда Александр спросил, что он имел в виду под таким ответом, мудрец заметил, что он всегда давал подобный ответ людям, которые задавали подобные вопросы. Я думаю, что это, должно быть, одна из лучших реплик, когда-либо сделанных, но у меня неприятное ощущение, что она довольно точно относится к теме этого эссе. Разница между классическим и романтическим! Это действительно кажущаяся неразрешимой проблема. Я также не могу представить себе ничего более обескураживающего или более враждебного человеческому счастью, чем раздувание тлеющих углей наполовину потухшего спора. Это, как будет известно, не входит в мои намерения. Я просто намереваюсь посвятить свое рассуждение знакомой теме в надежде, что некоторые наросты могут быть смыты и, по крайней мере, раскроются истинные очертания предмета. Мы пытались создать впечатление об эллинизме как о *Agon*, или Борьбе с варварством. Поскольку материал был настолько обширен, необходимо было быть несколько скудно отборным и иллюстративным, или же растратить суть на детали. Но самый общий обзор был бы неполным, если бы мы не получили некоторого представления о том, как греческая литература, оставившая нам важнейшее свидетельство о древнегреческом духе, отражает ситуацию.

Предложение, которое я хочу предложить, может быть полезным или нет. Но у него есть два качества, которые должны сделать его достойным внимания, хотя бы на данный момент: его легко понять и легко протестировать. Мое предположение состоит в том, что классическое искусство является выражением эллинизма, а романтическое искусство - варварства, насколько варварство способно к выражению.

Здесь я чувствую, что мне не хватает чего-то сверх моего собственного инстинкта, чтобы отличить классику от романтики. Отличить их никогда не бывает совершенно легко: в

величайшем искусстве это считается невозможным. В конце концов, человек должен полагаться на себя, потому что никому не нравится вторичная или безличная критика. Если вам посчастливилось увлечься литературой, вы не будете довольствоваться обсуждениями о ней, которые не помогают вам осознать то, что вы любите. Что касается слов “Классический” и “Романтический”, то они стали у нас ходячей монетой, и все же это монета без фиксированной стоимости. Таким образом, когда мистер Шоу нападает на “Романтику”, которую обожал Стивенсон, ясно, что они не могут означать одно и то же. Что же тогда они имеют в виду? Это очень трудно выяснить. Вы можете прочитать, что романтика - это дух Средневековья или дух немецкого леса; но вы оказываетесь предоставлены вашей собственной интерпретации средневековья или Волшебной Страны. Что касается “Возрождения чуда” — это, конечно, просто красивая бессмыслица.

Самые ясные слова по этому поводу принадлежат Мэтью Арнольду. В этом есть своего рода справедливость, поскольку критика Арнольда постоянно занималась вопросом о различии романтического и классического. Сам (как показывают его лучшие стихи) романтик в душе, он стоял посреди романтического триумфа, призывая к строгости искусства. Одно это доказывает его критический талант. Это также дает ему особое право быть услышанным. Поскольку я, похоже, нападаю на Арнольда, для меня будет лучше сказать сейчас, что я глубоко сочувствую его общему отношению и темпераменту. Я склонен думать, что его изложение классического случая - лучшее, что когда-либо было сделано. В некоторых моментах я думаю, что оно даже слишком благоприятно; в других - недостаточно благоприятно. Вот и все.

Лесное уединение, говорит он в своей книге “К изучению кельтской литературы”, *журчащий источник, полевые цветы - все это присутствует в романах повсюду. В них есть таинственная жизнь и изящество; они - собственные дети природы и передают ее тайну таким способом, который делает их чем-то совершенно отличным от лесов, вод и растений греческой и латинской поэзии. Что касается этой тонкой магии, то кельтская романтика является настолько выдающейся мастерицей, что кажется невозможным поверить, что сила не пришла в романтические отношения от кельтов. Магия — вот подходящее слово для этого — магия природы; не просто красота природы, как у греков и латинян; не просто честный привкус почвы, верный реализм, как у немцев; но интимная жизнь природы, ее таинственная сила и ее волшебное очарование. И (Примечание 150) на пути к этой атрибуции и этому отрицанию он различает четыре способа обращения с природой. Есть традиционный способ обращения с природой, есть верный способ обращения с природой, есть греческий способ обращения с природой, есть магический способ обращения с природой. Во всех этих трех последних взгляд направлен на объект, но с некоторым отличием; в “верном способе обращения с природой” взгляд направлен на объект, и это все, что вы можете сказать; в греческом языке взгляд направлен на объект, но добавляется легкость и яркость; в магическом языке взгляд направлен на объект, но добавляется очарование и магия.*

Нет необходимости отрицать ценность этих различий. Но, признавая их, должны ли мы признать, что у греков нет “естественной магии”? Ваша светлость, послушайте немного Гомера в прозе. Как многочисленные племена крылатых птиц — диких гусей, журавлей или длиннохвостых лебедей - в азиатских заливах у истоков ручья Кестер совершают небольшие перелеты во всем великолепии своих крыльев, приземляясь с криками, от которых звенит мариш. В этом нет естественной магии? Или в этом? Как когда потоки,

сбегающие с горы в каньон, извергают свои бурные воды из больших источников в глубокое русло, и пастух на далеких горах слышит их гром? Или подумайте вот о чем. Как когда моряки в море видят отблески пылающего костра, горящего на какой-нибудь одинокой обшивке высоко среди холмов. И снова мы читаем: Они взбираются на Парнас, крутой, поросший лесом холм, и вскоре добираются до продуваемых ветрами оврагов. Солнце тогда освещало поля своими первыми лучами из тихой, полноводной реки мира; и загонщики вышли на поляну. Последний пример: Например, когда дочь Пандиона, зеленолобый соловей, прекрасно поет в начале весны, расположившись среди покрытых листвой деревьев, с бегущей (Примечание 151)переменной нотой, она разносит свою далеко слышимую песню, оплакивая конец Итилы. Неужели во всем этом нет волшебства?

Тем не менее, некритично пытаться вынести критическое суждение штурмом. Вы, конечно, признаете величие и опьяняющий эффект этих гомеровских сравнений, но, возможно, вам все же кажется, что они не окончательно уничтожают отличительные черты Арнольда. Что—то в строках, которые он цитирует, - Китса

Волшебные створки, открывающиеся на пенопласте

Об опасных морях в заброшенных волшебных землях;

Шекспировский

В такую ночь

Стояла Дидона с ивой в руке

На диких морских берегах и помахала своей любовью

Снова приехать в Карфаген...

здесь можно почувствовать нечто, выражающее более личное или интимное отношение к природе, чем все, что я до сих пор цитировал из Гомера. Должен ли я тогда процитировать больше, чтобы показать, что даже этот штрих есть у Гомера? Он сжег его своими инкрустированными руками и насыпал над ним могильный холмик; а вокруг него горные нимфы посадили вязы. Разве этот последний штрих недостаточно волшебен? И, несомненно, здесь присутствует интимность. Как когда великий глубокий мрак безмолвно набухает, смутно предвещая стремительный путь пронзительных ветров. И личное замечание, разве здесь этого не слышно? И теперь в скалистом месте одиноких холмов, на Сипилосе, где покоятся нимфы (говорят люди), чьи ноги быстры на берегах Ахелоя, — там, превратившись в камень, она размышляет о зле, которое причинили ей боги. И вот два отрывка о любви, (Примечание 152)о любви в романтической обстановке, если мы вообще что-то под этим подразумеваем. Под ними божественная земля внезапно взрастила траву, покрытую росой, лотосы, крокусы и гиацинты, густые и мягкие, поднимая их с земли. На нем они лежали, свернувшись в красивое золотое облако, роняющее капельки росы. Это любовь Зевса и Геры. То, что следует далее, повествует о воцелении Посейдона к Тайро. Она полюбила божественного Энипея, прекраснейшую из рек, текущих по земле, и обитала в прекрасных водах Энипея. Поэтому Тот, Кто Обнимал и Сотрясал Землю, стал подобен Энипею и возлег с ней у истоков бурлящей реки; затем темная волна, похожая на гору, поднялась вокруг них и нависла над ними, скрыв бога и смертную женщину. Разве в этом нет волшебства?

Это везде у Гомера. Во всех своих контактах с природой он придает своим словам не просто легкость и яркость, но и нечто магическое. Если он этого не делает, то не делает ни один поэт. Да ведь сами “устойчивые эпитеты” Гомера наполнены магией. Думаю, из его эпитетов рассвета только—*κροκόπεπλος, шафран одеждах; χρυσόθρονος, золотисто-на троне; ῥοδόδακτυλος, Роза пальцами*—поэты-романтики всегда им завидовала. Невозможно отрицать волшебные, романтические качества Гомера, если только вы не сделаете признание, с которым я вскоре разберусь. И Гомер не единственный среди греческих поэтов, кто обладал “природной магией”; можно сказать, что ею обладали почти все великие греческие поэты. Едва ли не самые прекрасные слова, которые оставила нам Сафо, - это маленькие обрывки описаний, столь же трогательных, как все, что есть у Китса или Кольриджа. Таковы фрагменты, переведенные Россетти, и фрагмент “бессонной женщины, взывающей к звездам” (Примечание 153) по своему возлюбленному. Есть несколько строк Алкмана, сравнивающих его с “весенней птицей цвета морской волны”, которых достаточно, чтобы поставить его недалеко от Сафо и самого Кольриджа. А Эсхил в “Связанном Прометее”, и Еврипид в “Вакханках” - неужели у них нет чувства романтической природы? Затем есть Пиндар. Да ведь у Пиндара этого едва ли не больше, чем у кого-либо другого. Вспомните странное великолепие, подобное ветреному закату, из великой Четвертой пифийской оды, повествующей о Ясоне в чудесных землях. Повторите пару строк: *Подойдя к берегу белеющего моря, один в темноте, он громко воззвал к ревущему Хозяину Трезубца; и тот явился ему прямо у его ног.* Или возьмем этого новорожденного Иамоса, которого “разоблачила” его мать Эвадна: *но он был скрыт в сутолоке и бескрайних зарослях, его нежное тело было покрыто желтым и темно-фиолетовым великолепием анютиных глазок.* Есть ли там “естественная магия” или ее нет?

Возможно, Арнольда ввели в заблуждение две вещи, обе справедливые. Первой было ощущение радикальной разницы где-то между классическим и романтическим искусством. Вторым было незначительное значение в греческой литературе магии в чистом виде, магии фей и ведьм. Греческая литература скупо обращается к этому виду магии, в то время как она является частью арсенала романтики. Похоже, Арнольд бессознательно утверждал, что провозглашаемая романтическая страсть к магии должна каким-то образом проявляться в описаниях природы, в то время как греческая нелюбовь к магии помешала бы классическому поэту увидеть ее зачарованными глазами кельта. Теперь в этом есть доля правды, хотя, я думаю, это не очень важный элемент. Можно предположить, что во всей настоящей поэзии, будь то классическая или романтическая, греческая или кельтская, простая вульгарная магия преобразуется в то бесконечно более тонкое и привлекательное, что Арнольд, приписывая это Китсу и Шекспиру, называет “естественной магией”; которая, возможно, более распространена в романтической поэзии, но точно так же присутствует у Гомера и Пиндара.

К такому предположению о ходе мыслей Арнольда приходишь, когда читаешь цитаты, которые он выбрал, чтобы проиллюстрировать особую привлекательность кельтского романа. В основном они взяты из “Мабиногиона” в переводе леди Шарлотты Гест. Хотя и жаль, что Арнольду приходится доставать свои стрелы из одного колчана, и не из своего собственного, все же “Мабиногион” достаточно красив, а перевод настолько читабелен, что непонятно, где он мог найти для людей, не знающих валлийского или ирландского, лучшие иллюстрации. Он цитирует слова Математика, обращенные к Гвидиону, когда Гвидион пожелал жене для своего ученика. “Что ж, ” говорит Мэт, “ мы постараемся, я и ты, с помощью чар и иллюзий создать ему жену из цветов”. И они взяли цветы дуба, и цветы ракитника, и цветы луга - сладкие, и произвели из них девушку, самую прекрасную и грациозную, какую когда-либо видел

человек. И они окрестили ее и дали ей имя *Флауэр Аспект*. Это знаменитый отрывок с тех пор, как его процитировал Арнольд; и если мы хотим обладать магией, пусть она всегда будет такой же прекрасной, как эта; ибо я далек от того, чтобы отрицать красоту многих магических ритуалов. Но, как вы видите, это магия, осязаемая и практичная, а не магия

И красота, рожденная журчащим звуком

Пройдет перед ее лицом;

(Примечание 155)

в этом заключается истинное поэтическое волшебство и нечто еще более привлекательное.

От этого Арнольд немедленно переходит к отрывку, в котором кельтский писатель описывает падение крови как *более быстрое, чем падение капли росы со стебелька тростника на землю, когда июньская роса наиболее обильна*. Что ж, говорит Гомер, *Радость снизошла на его дух, как роса на колосьях созревающей кукурузы, когда в полях раздается шелест*. Кельтский отрывок более изящен, во всяком случае, чем Гомер в моей прозе. Но кто сказал бы, что между этими двумя отрывками есть существенная разница? Не утверждается, что Гомер пишет в этой манере так же часто, как поэты-романтики; и это различие стоит отметить. Но я утверждаю, что он может писать так, когда захочет, и не хуже любого другого.

А что, если эта утонченная поэтическая магия на самом деле является утончением грубой привлекательности практической магии? Что-то подобное Арнольд почти предполагает. Что, если магия Гомера и Китса проникает в нас отчасти потому, что где-то в нас дремлет память о чудесах, творимых в те дни, когда каждый камень, дерево и река были полны сверхъестественной силы? В подобном предположении нет ничего фантастического. Если мы примем его во внимание, то, возможно, обнаружим, что оно проливает свет на все поле нашей дискуссии. Мы сразу же вспоминаем почти невероятно обширную и почти дико "романтическую" мифологию Греции, материал и вдохновение греческой поэзии, какими они были материалом и вдохновением Китса. Итак, подлинная мифология Эллады впервые обрела форму в эпоху, когда верили в очевидную магию, в превращение мужчин и женщин в птиц и зверей, в деревья и цветы, а также в живую святость природных объектов. Его происхождение не поддается объяснению с точки зрения какой-либо другой гипотезы. Поэтому мы должны рассмотреть, как случилось, что греческая поэзия, рожденная (мы должны верить) в атмосфере, столь благоухающей магией, как подразумевает эта мифология, избавилась от вульгарной магии и "кельтской расплывчатости", пока критику вроде Арнольда не стало казаться, что она лишена и того оттенка, который, по его мнению, характерен исключительно для романтики.

Это произошло, без сомнения, как часть общей реакции на варварство, которую мы называем эллинизмом. Ибо магия - это варварство. Народы по всей Элладе, конечно, верили в это, и у них были маги, практиковавшие это. В самой Греции вера в магию сохранялась на протяжении всей греческой истории, сохранялась, так сказать, в уединенных местах и среди множества непросвещенных людей. Мы слышим о *Erôdoi*, "Заклинателях"; о *Гоэтах*, "Нытиках"; о *Басканои*, у которого был дурной глаз — три разновидности волшебников. Отголоски популярной веры в магическое можно услышать даже в греческой литературе, этой презрительной и привередливой вещи. У Гомера мы читаем, что рану, полученную Одиссеем от парнасского вепря, он закрыл, произнеся над ней заклинание. В *Трудах и днях* Гесиода много белой магии. Почти половина *Хоэфор* Эсхила состоит из призыва или вызывания призрака

мертвого Агамемнона. И так далее. В более поздние эллинистические времена существовало огромное количество магических писаний, родившихся в результате контакта греческой цивилизации с восточными суевериями. Должно быть, для этого была публика. Профессиональные чудотворцы не были редкостью, и некоторые из них завоевали оглушительную популярность. Книга Павсания, который записал то, что он слышал и видел в большей части Греции в начале ВТОРОГО века христианской эры, сильно и — для вас и меня — приятно напоминает о незапамятных обычаях и верованиях крестьянства. Многие из них явно волшебны по своей природе или происхождению. Он рассказывает нам, что жрецы ликийского Зевса вызывали дождь, окуная ветку в определенный ручей и встряхивая ее, разбрызгивая капли воды. Это, конечно, было чистой воды волшебство — “вызывание дождя”, как сказал бы африканский знахарь. Обычай такого рода, ставший ритуалом, может сохраняться и после того, как люди совершенно перестанут верить в доктрину, которую он принимает за истинную. Это, однако, не затрагивает исторического значения обычая, который, должно быть, возник среди людей, веривших в магию. Кроме того, крестьяне во времена Павсания были явно очень суеверны. Его книга является доказательством этого. Предполагать, что в этом отношении они сильно отличались от своих предков, значит предполагать то, против чего кричит здравый смысл и что опровергают имеющиеся свидетельства.

Таким образом, эллинизм, цветок греческого духа, вырос на почве, пропитанной суевериями, или, если вам не нравится это слово, религией, содержащей много элементов магии. Я полагаю, каждый современный изучающий этот предмет признает, что, хотя некоторые ученые придают большее значение магическим элементам, некоторые — меньшее. Чего никто не может отрицать, так это того, что эллинизм склонен отвергать магию и пытается изгнать ее из человеческой жизни. Магия была варварством, а эллинизм был реакцией против варварства. Весьма вероятно, что реакция зашла слишком далеко; реакции обычно заходят. Весьма вероятно, что что-то слишком большое было принесено в жертву “греческому здравому смыслу”. Но было бы странной неблагодарностью с нашей стороны забывать, что именно эта настоятельная потребность в здравом уме, в рациональности обеспечила то, что наша цивилизация была основана на жестком реалистическом мышлении, а не на простом эмоциональном всплеске. Задача продумывать все до конца, даже до самого горького конца, которая была столь характерна для греков, особенно подходила им для выполнения задачи по закладыванию интеллектуальных основ. Это не характерно для англичан, и по этой причине мы в большем долгу перед ними. Но едва ли менее несправедливо было бы предположить, что греки всем пожертвовали ради рационального. Ничего подобного. Они почувствовали очарование, которому кельтское воображение поддавалось с такой полнотой. Но из магии, по их мнению, не может быть построена ни полезная философия, ни здравый метод искусства. Таким образом, их литература, когда она касается этого вопроса, и рассматривает его в лучшем виде, сознательно или инстинктивно стремится извлечь из него всю его ценность для воображения, ни на мгновение не позволяя ему подавлять суждения. Любой, кто читает по очереди “Темные воды” мистера Йейтса и ту часть “Одиссеи”, в которой рассказывается о приключениях Одиссея в волшебных землях, населенных призраками, поймет, что я имею в виду. Герой Йейтса поддается очарованию; Одиссей борется с ним. Какой из них мудрее — это вопрос, который я оставляю вам. Но здесь, на иллюстрации, которая является почти эпиграммой, мы видим разницу между кельтским или крайне романтичным темпераментом и эллинским темпераментом. Кельт слышит вой сирен и следует за ними; грек слышит их и неохотно проплывает мимо.

Или вы можете сказать: кельтский дар - это видение, эллинский дар - это свет.

Понаблюдайте, как Гомер обращается с магией. Он часто оказывается в ее присутствии и обращается с ней по-разному. Он опускает это, он завуалирует это, он трансформирует это. Я не могу понять, на каком реальном основании мы можем последовать примеру одного из самых выдающихся английских исследователей Гомера в отделении остальных гомеровских поэм от тех книг "*Одиссеи*", в которых рассказывается о странствиях Одиссея по неведомым землям и морям. Когда магия перестает быть магией? Разве это волшебство, когда Цирцея в сказочной стране Одиссеев превращает мужчин в свиней, и не волшебство, когда Афина в Итаке превращает Одиссея в нищего, а себя - в птицу? Однако доктор Лиф имеет в виду скорее отличие, которое он ощущает во всей атмосфере этих книг о волшебной стране, которые древние знали под названием "*Повествование об Алкиноосе*", от остальной части *Одиссеи* и от *Илиады*. *Повествование*, думает он, разворачивается в местах, которые безнадежно искать на карте. Географию всего остального действительно можно найти на карте, если только вы знаете, где ее искать. Я мог бы согласиться с этим и все же утверждать (как и следовало бы), что географическая точка обманчива. Одиссей действительно переходит из известных земель в неизвестные, но он не переходит из одной атмосферы в другую. В *Повествовании* больше чудес и волшебства, чем в остальной части Гомера, но трактовка их та же. Или, выражаясь несколько иначе, Феакия для меня так же реальна, как Троя или Итака. И мне кажется, она была такой же реальной для Гомера.

В конце концов, в *Повествовании* действительно очень мало явной магии, даже если мы включим в него чудотворения богини Цирцеи и других божественных существ, о которых можно было бы сказать, что они скорее творят чудеса, чем практикуют колдовство. Обратите внимание, как мало делается для этого чудотворения: настолько мало, насколько это возможно. О превращении и ретрансформации спутников Одиссея рассказывается в одной-двух строках. Подумайте, что сделали бы из этого "*Калевала* или "*Арабские ночи*". Вся некромантическая история Сошествия в Ад в одиннадцатой книге *Одиссеи* изложена в нескольких формальных ритуальных фразах. Первоначально вся эта материя, должно быть, была пропитана магией. То же самое и с обращением Гомера к чудовищам. Гомеровский дух возражает против монстров; и поэтому вы никогда не заметите, если не приглядитесь повнимательнее к тексту, какими ужасными существами были Сирены. Сцилла и Харибда описаны не полностью; многое предоставлено воображению читателя. Следует признать, что Циклоп отличается. Гомер, видите ли, *должен был* заставить его съесть людей Одиссея и *должен был* выколоть ему глаз; иначе история не рассказывала бы. Но почему-то этот отрывок не так ужасен, как можно было бы ожидать. Он полон безжалостных описаний — Циклопа рвет “вином и кусками человеческой плоти” — и все же, несмотря на такой “реализм”, поэт ухитряется окутать наш дух атмосферой очарования — истинного поэтического очарования, — в котором все вещи одновременно яркие и далекие, как только что вспомнившийся сон.

Гомер, конечно, проблема, о которой очень трудно сказать что-то такое, что всем понравилось бы. С одной стороны, есть ученые, которые считают, что наши *Илиада* и *Одиссея* - это всего лишь окончательные версии двух традиционных поэм, над которыми многие поэты работали на протяжении долгой череды лет. С другой стороны, есть те, кто считает, что эти два стихотворения полностью или по существу являются работой одного раннего поэта, который настолько возвысился над своими предшественниками, что ([Примечание 161](#)) мало или вообще ничем им не обязан. Это затрудняет оспаривание какого-либо положения Гомера с каким-либо

общим признанием. Но сейчас, кажется, ни один исследователь не отрицает, что Гомер — независимо от того, назовем ли мы имя одного исключительного раннего поэта или (ориентировочно) последнего из всех, кто работал над поэмами, — унаследовал что-то из его материала. Он не выдумывал историю Трои, и ему пришлось иметь дело с ней так, как он ее нашел. Итак, вся эта традиционная материя — ибо материя традиционна, независимо от того, являются ли *Илиада* и *Одиссея* сами по себе традиционными поэмами или нет, — по всей видимости, была пропитана магией. Это нормальное состояние материала, в котором поэзия, насколько мы можем видеть, повсюду берет свое начало. Кроме того, греческая мифология, которую справедливо назвать основой греческой поэзии, полна магии. Напрашивается вывод, что Гомер и греческие поэты в целом до конца “классического” периода стремились извлечь из своей материи все, что имело привкус волшебства.

Я думаю, что именно Эндрю Лэнг первым указал на то, что Гомер явно избегает рассказывать истории, которые “морально неприемлемы”. Еще более определенно мы обнаруживаем, что истории, которые у Гомера совершенно безобидны, у других авторов вызывают чрезмерное “отвращение”. Что это значит? То ли дело в том, что последующие поколения осквернили золотую невинность гомеровских дней своим низменным воображением, то ли в том, что Гомер знал другие, более дикие и кажущиеся древними версии и не стал бы их пересказывать? Что касается меня, я думаю, Гомер знал! И я думаю, что он тоже знал о магии. Происходят постоянные превращения, особенно в *Илиаде*, богов в человеческие и животные формы. Это магия или нет? Несомненно, все это связано с “превращениями” волшебников, столь распространенными во всех мифологиях; и это признанная магия. Но, во-первых, к этим превращениям, как мы уже отмечали, относятся легко и покровительственно, а во-вторых, они ограничены богами. То, что Гомер позволяет им, он не позволит смертным. Он или его предшественники установили различие между богами и людьми, которое составляет одну из основ греческой религии. Более того, я полагаю, вы можете проследить в нем зачатки чего-то большего - нежелания говорить даже о богах, совершающих эти метаморфозы в звериной форме. Как правило, греки не возражали против подобных историй или даже цеплялись за них по мотивам, которые можно охарактеризовать только как “романтические”. Но Гомер, возможно, сильно смягчает их и вряд ли заслуживает порицания Платона, который осуждает тех, кто хотел сделать из Бога волшебника. Метаморфозы у Гомера на удивление ненавязчивы. Но зачем они там вообще? Ответ, несомненно, должен заключаться в том, что они были в рассказе и не могли быть опущены совсем.

Я забываю, что Гомер был поэтом, а не моралистом? Думаю, что нет. Я мог бы, не без основания, ответить, что ранний греческий поэт *был* моралистом, его целью (как выразился Аристофан) было “сделать людей лучше в их городах”. Но я предпочитаю сказать, что возражение Гомера против чудовищного и грубо магического на самом деле носит эстетический характер. Учитываются и другие соображения, но в долгосрочной перспективе преобладающим оказывается эстетическое соображение. Я как-то отмечал, что многие сравнения у Гомера при ближайшем рассмотрении оказываются связанными с реальной метаморфозой. Фактическое превращение — скажем, Афины в (Примечание 163) падающую звезду — незаметно переходит в простое сравнение. Это одно из приспособлений для уменьшения магического элемента. Но есть и другие. *Так говорила она*, говорит поэт о Елене, когда недоумевала, почему ее братьев нельзя увидеть среди греческого войска перед Троей. *Так говорила она, но их дышащая жизнью земля теперь крепко держала в Лакедемонне, там, на их собственной родной земле.* φυοίζοος αἴα, “дышащая жизнью земля”, как вынуждены говорить неудачливые переводчики, черпает

половину своей поэтической ценности, как видел Рескин (в данном случае, по крайней мере, достаточно справедливо), из древней веры, очень сильной в древней Греции, что Земля физически была матерью всего живого, дорогой матерью богов и людей. Опять же, кто не видит, как физическая магия переходит у него перед глазами в поэтическую магию в строках, где Зевс оплакивает грядущую гибель своего сына Сарпедона? *“Когда душа и жизнь покинут его, пошли Смерть и сладкий Сон, чтобы нести его, пока они не придут в землю обширной Ликии, где его братья и его родственники воздвигнут для него вечный курган и столб; ибо так мы чтим мертвых”*. Так сказала Гера, и Отец Богов и людей послушался ее совета; и он пролил капли крови на землю, почитая своего сына, которого Патроклу было суждено убить в плодородной Стране Троил вдали от своей родины. Что такое романтическая поэзия, если это не так? И вы видите, как она создается? За счет вуали грубого волшебства.

Невозможно удержаться от еще одной цитаты. Отец, взывает Телемах к Одиссею, воистину, великое чудо - это то, что я вижу своими глазами. Воистину, стены покоев, и прекрасные основания колонн, и балки крыши из ели, и колонны, удерживающие все на высоте, сияют перед моим взором, словно от пылающего огня. Несомненно, в доме есть какой-то бог!

(Примечание 164) Именно в таком свете мы видим весь гомеровский мир. Это не свет ведьминого костра, но это свет, в котором творится настоящая поэтическая магия.

Несчастный, какое проклятие снизошло на тебя? Во тьме свернуты ваши головы, и ваши лица, и ваши колени под вами; раздаётся стон, и щеки мокры, и кровь на стенах и прекрасных пьедесталах; призраки в дверях, призраки во дворе тех, кто спешит в темный мир внизу; солнце сошло с небес, и зловещий туман окутал вас! Так восклицает в "Одиссее" человек со вторым зрением. Не правда ли, все это очень “кельтски”?

В древнем Гимне Деметре Персефона описывается как играющая с пышногрудыми дочерьми Океана и собирающая цветы - розы, крокусы и фиалки на мягком лугу, а также ирисы, гиацинты и нарциссы, которые по воле Зевса Земля, благосклонная к Нему из Множества Гостей, послала, чтобы заманить в ловушку деву с цветущим лицом, сверкающее чудо, на которое все могли бы любоваться изумленными глазами, как бессмертные боги, так и смертные мужчины: — из одного корня сотня цветущих головок; очень сладок аромат этого растения. цветок, и восторг от него рассмешил широкие небеса над головой, и всю землю, и соленые и бурлящие воды.

Если это не "естественная магия", то где нам ее найти? И разве нет чего-то изысканного в чувстве или такте, который подсказывает греку, когда остановиться, прежде чем магия станет слишком грубой или очевидной? Греческий поэт знает, когда остановиться, романтик - не всегда. Здесь, в другом из гимнов, Гимне Дионису (VII), приводится откровенное описание чуда. Но вскоре среди них были показаны удивительные вещи. Сначала над стремительным черным кораблем плескалось сладкое, пахучее вино, и поднимался божественный аромат; и изумление охватило всех наблюдавших за ним моряков. Вскоре по самому верхнему краю паруса тут и там протянула свои усики виноградная лоза; гроздья были густыми; а вокруг мачты обвился темный плющ, густо усыпанный цветами и приятно пахнущий ягодами, и все булавки были увиты гирляндами. Из-за абсолютной красоты фантазии было бы нелегко превзойти это. И какой великий эффект достигается благодаря умеренности! Еще немного деталей, и очарование рассеялось бы — корабль был бы слишком похож на рождественскую елку. Именно в такой мудрой экономии греческое искусство так велико. Именно в них Романтик склонен терпеть неудачу. В них он порицает свое варварство.

Я больше не сомневаюсь, что читатель (который, вероятно, не нуждался в демонстрации) убежден, что греческая поэзия иногда достигает тех самых эффектов "естественной магии", которые отрицал Арнольд. Произошло лишь следующее: греческая поэзия продвинулась дальше, чем любая другая, в процессе отработки некоторых элементов в том грубом материале, с которого она началась. Я не отрицаю, что в процессе она, возможно, потеряла некоторое количество чистейшего золота. Я не защищаю греческую поэзию, я пытаюсь ее понять. Ученые считают, что поэзия повсеместно возникла из своего рода песни или припева, которые (мягко говоря) очень часто носят магический характер. Наконец-то получают такие вещи, как некоторые русские народные песни или финские мелодии, которые Леннрот собрал для создания *"Калевалы"*. Жаль, что *"Калевала"* не нашла адекватного переводчика с английского. Можно искренне пожелать, чтобы Лонгфелло перевел это вместо того, чтобы давать нам *"Гайавату"*, которая является несколько близким подражанием. Кто-то может восхищаться *"Гайаватой"*, но в самом банальном переводе (так сказать, краем глаза) видно, что *"Калевала"* в пятьдесят раз лучше. Если вы хотите волшебства, и очень восхитительного волшебства, отправляйтесь туда! Мне кажется, вспоминая, что все главные герои *"Калевалы"* - колдуны. В самом первом слое вы заблудились в волшебном лесу и никогда из него не выберетесь. *"Калевала"*, конечно, не самый высокий вид поэзии; она (как жаловалась миссис Барбо на *"Древнего моряка"*) слишком "невероятна" для этого. Но это нравится нашему вкусу, потому что это так отчаянно "романтично". —Но вы же не собираетесь сказать, что это так же хорошо, как *"Одиссея"*?

Истина, конечно, заключается в том, что поэзия, как в *"Одиссее"* и *"Илиаде"* и *"Агамемнон"*, так же, как в *"Божественной комедии"* и *"Гамлет"*, получает за эти различия романтической и классической. Я осмелюсь сказать, что в греческом языке такого рода поэзии не меньше, чем даже в нашей собственной литературе. Во всяком случае, кажется, нет никаких сомнений в том, что величайшая поэзия написана только по греческим принципам. Должна быть та "фундаментальная мозговая работа", как называл это Россетти, которая является характерным греческим вкладом в искусство. Вы можете давать менее жесткую интерпретацию эллинским принципам, вы можете применять их во множестве новых областей, но суть их вы должны сохранять. Варвар может быть достаточно живописен, но он не художник: он теряет голову.

Было бы чрезвычайно интересно рассмотреть, как подобный отрывок...

Мне было всего семь лет,

Когда моя мать говорила ди:

Мой отец женился на женщине из рода Эй уорст

Мир когда-либо видел.

Ибо она превратила меня в ленивого червяка,

Который лежит у подножия дерева,

И моя сестра Мэйзери

К морскому мачрелу.

И каждую субботу в полдень

Махрель приходит ко мне,

И она берет мою опущенную голову

И кладет его себе на колени,

И делает это с большим трудом,

И смывает его в море—

это чистое волшебство, подобное тому, которое вы могли бы найти в "Калевале", трансформируется в такой отрывок, как

“О, удержи свой плачущий язык”, - говорит он,

“Пусть твои безумства развеются;

Я покажу тебе, где растут белые лилии

На берегах Италии”—

которая является романтической поэзией в лучшем ее проявлении — или в

Теперь добрый лук Джонни сломан,

И его добрые серые псы убиты;

И его тело лежит мертвым в Дэррисдире;

И его охота окончена—

это классический стиль почти в лучшем виде. Но эссе должно заканчиваться через разумное время. Кроме того, есть еще кое-что, что я хочу сказать о Классике и романтике.

(Примечание 168)

II

Арнольд выразил разницу между греческим и кельтским или романтическим духом словом *Титанизм*. Это очень счастливое выражение, счастливее даже, чем знал Арнольд, если только он не знал, что мы сказали о Титанах. Ибо титанизм - это просто варварство в героических пропорциях. Это дух Древних царей — "Решетчатых", как называет их Гесиод, этимологизируя, — которые потерпели неудачу, потому что не захотели дисциплинировать свою силу. Учитывая некоторые высказывания Арнольда о кельтском характере и “неудачах” кельтской расы в практических делах, теперь никому нет необходимости беспокоиться, поскольку сейчас никто не использует такой язык. Даже если бы это было оправдано, вряд ли это имело бы значение, поскольку успех в литературе зависит (как, конечно, понимал Арнольд) от качеств, совершенно отличных от тех, на которые можно положиться, чтобы добиться успеха в жизни. Именно титанизм кельта, говорит Арнольд, делает его неудачником в мире бизнеса, но в качестве компенсации наделяет его даром стиля. Нам необязательно соглашаться с такой постановкой вопроса, но я не думаю, что мы можем справедливо отрицать ни стиль, ни титанизм.

У греков тоже была своя мера титанизма и, безусловно, своя мера стиля. Арнольд цитирует Анри Мартена, описывающего кельтов как *всегда готовых выступить против деспотизма фактов*. После чего греческий студент мгновенно вспоминает, что именно это Клеон говорил об афинянах. Он также вспомнит, что один коринфский политик сказал, что, по его мнению, они *не были рождены ни для того, чтобы быть спокойными самим, ни для того, чтобы позволять другим людям быть спокойными*. Любой, кто не замечает неутолимого беспокойства греческого темперамента, упустит важную часть его качества. Это проявляется в греческом отношении к Надежде, которое заставляло древние сердца биться с неистовством, пугавшим их и чрезвычайно удивляющим нас. Это отражено в популярном представлении об Александре Македонском как о человеке, марширующем все дальше и дальше в мечте о нескончаемых победах. Это происходит вопреки Арнольду. Он цитирует Байрона:

Посчитай, сколько радостей выпало на долю за эти часы,

Считай свои дни свободными от страданий,

И знай, кем бы ты ни был,

Лучше бы этого не было.

Он считает, что это характерно для кельтов. Возможно, так оно и есть. Но это также и характерно для Греции. Это обычное место в греческой поэзии. Затем он цитирует:

Что, если поле боя будет потеряно,

Еще не все потеряно, непобедимая воля,

И изучение мести, бессмертной ненависти,

И мужество никогда не подчиняться и не уступать,

Или что еще нельзя преодолеть.

Это он также называет кельтским, хотя знал, что его *связывает Прометей*, и, возможно, подумал, что Мильтон тоже это знал. Наконец Арнольд выдвигает свою версию и описывает отрывок, процитированный в поддержку его антитезы, как, до определенного момента, “греческий в его чистой красоте”; и когда он хочет найти название для кельтского “опьянения стилем”, обращается за словом к греческому поэту и возвращается к *пиндаризму*.

Это показывает, насколько невозможно настаивать на этих критических различиях. Тем не менее, каждый видит, к чему клонит Арнольд, и может пройти с ним большую часть пути. Совершенно верно, что кельтская литература полна титанизма. Но было бы ошибкой говорить, что титанизм чужд греческому искусству. В кельтской и в романтической литературе в целом ее гораздо больше, чем в классической, и это создает разительную разницу между ними. Но это всего лишь разница в методе и акценте. Титанизм импонирует Романтику, и он отдается ему полностью. Грек тоже чувствует это влечение, но он борется с ним и поверх титанизма ставит то, что, по его мнению, лучше.

Таким образом, любовь к странной и гиперболической речи является частью романтического настроения. Мы видим поэта-романтика или его героя как человека, увеличенного до сверхчеловеческих размеров и делающего огромные жесты в тумане. Этот эффект доступен

любому истинному поэту, и, возможно, Эсхил достиг его лучше, чем кто-либо до или после. Мы должны вернуться к этому пункту. Здесь нам достаточно отметить, что греки могли прибегать к поэтической гиперболе, когда им заблагорассудится. Но только романтики, или, если вам нравится, кельтские поэты, никогда не устают от этого. Опять же, ошибочно полагать, что в древней литературе нет символизма. Но то, что есть, сильно отличается от современного "символизма". Наш "Символизм" использует определенные общепринятые символы, которые, намекая и незаметно, рекомбинируя, заставляют дух мечтать. Древнее искусство сохранило свои символы — не знаю, правильно ли употреблено это слово — отдельными и определенными. Но они у него были. Фон "Агамемнона", например, изобилует символами. Все это освещено триумфальными и разрушительными пожарами с (проходящей невредимой сквозь все это) призрачной красотой Елены; в то время как изучающие метр заметили, что сердце стиха бьется быстрее и медленнее по мере того, как она приходит и уходит. Это символическое использование огня и формы Елены, снов, бури, пурпура и много другого глубоко и замысловато изучается в пьесе. Но это не похоже на современный символизм, который часто довольствуется экстатическим созерцанием самого символа, вместо того чтобы драматично использовать его, чтобы наполнить ситуацию светом, скрытым в сердце Времени.

Таким образом, все эти различия сводятся к изменению отношения, которое, тем не менее, имеет немаловажное значение. Хотя это и не основы самой жизни, но восприятие жизни человеком меняется; и именно воздействие этого непостоянного фактора на неизменные основы души производит ту творческую закваску, из которой рождается все искусство.

Это можно увидеть на примере одного предмета, представляющего особый интерес в истории искусства, — любовной страсти. Постоянно можно встретить высказывания о том, что романтическая любовь - явление чисто средневековое и современное. Те, кто делает это заявление, могли бы подумать, что столь глубокая и интимная эмоция вряд ли была обнаружена так поздно в истории человечества. И этого не было. Поскольку, возможно, наши представления о том, что такое романтическая любовь, весьма расплывчаты, давайте примем это здесь за страсть, кредо которой, согласно (Примечание 172) Драйдена, *All for Love and the World well Lost* фразе "Все ради любви и безнадежно Потерянного мира"..... Была ли такая страсть неизвестна в древности? Разве не эту самую фразу из "Все ради любви" использовала греческая Клеопатра, одна из самых известных любовниц в мире? Разве Медея не оставила все ради любви, и Орфея, и пастуха Дафниса, легенда о котором тем более значима, что она кажется чисто народной? Разве не все поэты романтической любви инстинктивно обращались к греческой мифологии как к неисчерпаемому источнику своих знаний? Нельзя отрицать, что они трактуют мифы по-своему. Но они бы вообще не обратились к ним, если бы чувствовали, что эти истории были созданы чуждым духом. Тогда, насколько можно судить по несчастливо скудным фрагментам греческой лирической поэзии, в этом был силен романтический дух. Сафо и прекрасный поэт Ибикос были всецело отданы и порабощены любовью; и великое и ожесточенное сердце Архилоха едва избежало этого с проклятиями. В александрийскую эпоху это расцветает в поэзии заново. Возможно, можно считать типичным для крайнего романтического настроения значительный фрагмент, оставшийся нам от Гермезианакса. Это немногим больше, чем перечисление знаменитых любовников из чистого восхищения их именами. В этом произведении есть немного ребячества и немного искусственности, но все же оно не лишено навязчивой красоты, подобной той, которая присутствует в *Каталоге женщин* у Гомера. Это не случайное родство. Подземная река снова разлилась. В "Аргонавтике" Аполлония это течет беспрепятственно.

Возможно, вы заметили, что ни один из моих примеров не был взят из величайшего периода греческой литературы, аттической эпохи. Это тоже не случайно. Ибо именно тогда враждебный дух действует наиболее эффективно. Греческой природе никогда не было отказано в способности к романтической любви. Но случилось вот что: великая эпоха применила, как к другим страстям, так и к любви, свое учение о *Софросине*. Каков был результат? Любовь стала ужасной, и ее следовало избегать в точной пропорции к ее власти над душой. А в греческой душе любовь обладала огромной властью; никто не должен заблуждаться на этот счет. *В древности Его называли тираном*, говорит Платон об Эросе. Это снова знаменитое высказывание Платона о том, что любовь - это форма безумия. Софокл, как мы помним, сравнивал ее с диким зверем. Такой язык привычен аттическим поэтам. (Оно используется, например, Софоклом и Еврипидом в знаменитых одах, призывающих Эроса, один в *"Антигоне"*, другой в *"Ипполите"*.) Это совсем не язык Романтики; здесь не говорится, что *все ради Любви*. Действительно, если мы рассмотрим его более внимательно, то обнаружим, что оно означает полную противоположность тому, что означает крайний романтик. Греческое означает "он победил", романтическое - "он сдался". Безусловно, в романтической теории, хладнокровно рассмотренной, есть определенная доля бравады. Сильная страсть, порожденная воображением, достаточно редка, чтобы быть чем-то большим, чем девятидневным чудом. Такое возражение не имеет веса в мире искусства, но оно чрезвычайно уместно в вопросе, когда мы противопоставляем реальные условия древней и современной жизни. В конечном итоге выяснится, что в Древней Греции мужчины чувствовали любовь так же сильно, как и мы, но относились к ней по-другому. Они были за самообладание, мы - за экстаз. Они были греками, а мы варвары.

Можно полагать, что и в этом они были самыми настоящими художниками. Нет ничего более характерного для художника, чем его способность направлять свои эмоции на служение своему искусству.

Быть увлеченным тем, что может принести тебе пользу,

Но ничего хорошего, если в тебе есть страсть

- это его мысль. Человек, сказавший это, также сказал, что *тигры гнева мудрее лошадей наставления*. Эти два чувства на самом деле не несовместимы, но нужен художник, чтобы примирить их. Бедный, простой современный человек всегда видит в таком отношении что-то аморальное. На это проще всего ответить, что все зависит. Но, несомненно, греческий - единственная здравая художественная доктрина. Никто не будет писать очень хорошо, если не сможет контролировать свое вдохновение. Банальность, без сомнения, но банальность, которая в наши дни, кажется, очень легко забывается. Одних эмоций недостаточно. Тангейзер предложил великую поэзию; он не мог бы написать ничего подобного, ибо это потребовало бы моральной энергии.

Можно счесть уловкой оставить эту тему, не сказав ни слова по вопросу, который нельзя игнорировать. Я полагаю, будет достаточно нескольких слов. Но также полезно прояснить момент, который не был замечен теми, кто утверждает, что греческий пример подтверждает их точку зрения о том, что художнику позволительны любые переживания. Суть вот в чем. Сексуальная извращенность, которую так часто без разбора приписывают эллинам в целом, была наиболее широко распространена не в артистической части греческого народа. Это был в основном дорийский порок, взращенный дорийской походной жизнью, хотя, осмелюсь сказать,

в какой-то степени он был эндемичен на Ближнем Востоке. Ионийцы (включая афинян), которые (Примечание 175) унаследовали девять десятых эллинского гения, без колебаний осуждали подобную практику, даже если сами были в некоторой степени заражены ею. Афинская буржуазная мораль была вполне здоровой на этот счет, в чем вы можете убедиться, просто прочитав Аристофана. Его отношение действительно примечательно, и, насколько мы можем видеть, есть только одно возможное объяснение: афинский народ не потерпел бы дорийского греха на сцене. И все же вы знаете, что они терпели, и что терпела комическая традиция. Потребовалось бы многое, чтобы остановить Аристофана.

Другой момент можно сформулировать в форме вопроса. Как, исходя из предположения о греческой извращенности, мы должны объяснить исключительное здравомыслие греческой мысли и чувств? По-человечески невозможно, чтобы патологическое состояние тела не привело к болезненному состоянию ума. И все же я никогда не слышал ни о ком, кто называл бы греков болезненными. Следует предположить, что определенные отрывки из Платона были главным источником неправильного представления или преувеличенного впечатления, которое, возможно, все еще слишком распространено. Теперь, что касается того, что называется платонической любовью, есть две вещи, о которых не следует забывать. Одна из них такова. Молодые люди, с которыми Сократ обычно беседовал — которые, как вы знаете, ни в каком смысле не были его учениками — были склонны быть членами крошечного меньшинства среди того, что мы должны были бы назвать высшими классами Афин, которые исповедовали то, что кажется нам совершенно ненужным “филолаконизмом” или культом всего спартанского. Некоторые из этих молодых людей, несомненно, практиковали дорийское преступление или забавлялись им, и Сократ был готов обсудить с ними этот вопрос. Он был тем более готов сделать это, что сам придерживался вполне определенной точки зрения. Он прямо осудил плотский грех, хотя, возможно, и не бескомпромиссно. Но он придавал высочайшую ценность общению друзей, старшего и младшего, и он хотел, чтобы это товарищество было достаточно сильным, чтобы заслужить название любви. Это подводит ко второму пункту. Вы должны судить о древней любви — я имею в виду любовь мужчины и мальчика — по ее идеалу, как вы настаиваете на оценке романтической любви. При таком рассмотрении она часто кажется прекрасной и благородной. То, что она иногда тонула в трясине, - это не больше, чем можно сказать о современной любви. Во всяком случае, не будем лицемерить.

Пора восстановить нить нашего первоначального рассуждения, которое сводилось к тому, что контраст эллинизма и варварства проявляется в литературе как контраст классического и романтического. Точно так же, как эллин и варвар являются соотносительными терминами, вы не можете понять классическое искусство без привязки к Роману, равно как и романтическое искусство в отрыве от классики. Но опять же, как греки и варвары одинаково человечны, так и классическое и романтическое искусство похожи друг на друга. Разница в конечном итоге заключается в разнице в степени или (другими словами) в тенденциях. Великий порок варвара заключается в том, что у него нет самоограничения. Не может быть искусства любого рода без ограничений, и варвар *пурсанг*, если он существует, должен быть неспособен к искусству. Но мы обсуждаем не его; речь идет о художественном выражении варварства, которое мы называем Романтикой. Теперь обратите внимание, как ясно, в рамках ограничений, налагаемых искусством, Романтика раскрывает склонности варварского темперамента. В литературе это проявляется в форме гиперболы или художественного преувеличения. Никто не будет отрицать, что романтика в значительной степени потворствует этому. Греки боялись этого. Большое внимание к этому, вероятно, навлекло на писателя эпитет ψυχρός, “холодный” — любопытное

обвинение для нас, склонных считать преувеличение естественным для огненного духа. Они считали это простым выплеском слабой натуры, которая не могла овладеть своим внутренним пламенем и направить его в нужное русло.

Однако романтическое преувеличение может быть очень изящным. Я согласен с Арнольдом в том, что ему очень нравится отрывок, который он цитирует в сокращенном виде из *"Мабиногиона"*. Ведутся поиски Мабона, сына Модрон, которого забрали, когда ему было три ночи от роду, из-за того, что он находился между матерью и стеной. Ищущие идут сначала к Узелю Силгври; узел прожил достаточно долго, чтобы расколоть наковальню кузнеца до размера ореха, но он никогда не слышал о Мабоне. "Но есть раса животных, которые были созданы до меня, и я буду вашим проводником к ним". Итак, Узель ведет их к Оленю Рединвра. Олень видел, как саженец дуба в лесу, где он жил, вырос в дуб с сотней ветвей, а затем медленно превратился в засохший пенёк, но он никогда не слышал о Мабоне. "Но я буду вашим проводником к месту, где есть животное, которое сформировалось еще до того, как появился я"; и он ведет их к Сове Cwm Cawlwyd. "Когда я впервые попала сюда," говорит Сова, - широкая долина, которую ты видишь, была лесистой долиной. И пришла раса людей и выкорчевала ее. И выросло второе дерево; а это дерево - третье. Мои крылья, разве они не засохшие обрубки?" Однако Сова, несмотря на свой преклонный возраст, никогда не слышала о Мабоне, но предложила быть проводником "туда, где обитает самое древнее животное в мире и которое больше всего путешествовало, Орел из аббатства Гверн". Орел был так стар, что скала, с вершины которой он каждый вечер клевал звезды, теперь была меньше пяди высотой.

Популярное поверье о великом возрасте определенных животных встречается во многих странах, в том числе и в Древней Греции. Это выражено в старинной поэме, приписываемой Гесиоду, под названием *"Наставления Хирона"*. Девять жизней состарившихся людей живет каркающий ворон; четыре жизни ворона живет олень; ворон видит старость трех оленей; но феникс живет столько же, сколько девять воронов, столько же, сколько десять фениксов - мы, Нимфы с прекрасными волосами, дочери Зевса, несущего Эгида. По сравнению с кельтским отрывком цитата из "Гесиода" бедна и суха и похожа на сумму умножения. Кельтское воображение, с его изысканным неистовством, чувствует себя как дома в области народной фантазии и эффективно справляется с ней; тогда как греческий метод, если его применять без искусства, все портит. Вы заметите, что "Гесиод", несмотря на его гораздо большую умеренность (по крайней мере, здесь он показывает себя греком), на самом деле не преуспевает в том, чтобы быть более убедительным для воображения, в то время как он совсем не производит на него такого впечатления, какое производит кельт. Примененный с искусством Гомера или даже Гесиода в его лучших проявлениях, греческий метод должен был сразу же поразить воображение и убедить его. Если он может это сделать, то явно превосходит метод воздействия на воображение процессом, сродни ошеломлению. Вероятно, следовало бы предпочесть Гесиода в его самом сухом виде простой бессмысленной гиперболе, даже в том отрывке, где присутствует небольшая гипербола. Будущее стиля Гесиода в руках художника с богатым воображением, в то время как у простого визга нет возможного художественного будущего. Кельтский метод - это всегда совершение самоубийства.

Арнольд снова цитирует из *"Мабиногиона"*: Дрем, сын Дремидида (когда комар поднялся утром вместе с солнцем, Дрем мог видеть его из Гелли-Вика в Корнуолле, аж до Пен-Блатаона в Северной Британии). Вот что говорится в древнем эпосе под названием *"Килр"*: Взобравшись

на самую вершину, он окинул взглядом весь остров Пелопа, сына Тантала, и вскоре славный герой своими чудесными глазами заметил укрощающего коня Кастора и побеждающего Полидевка в дупле дуба. Превосходство классического стиля сейчас начинает заявлять о себе. Преувеличение в греческом отрывке огромно, но оно на мгновение останавливает недоверие — а момент в искусстве — это все, - в то время как кельтский отрывок вообще не обращает внимания на правдоподобие и, следовательно, действительно упускает из виду его эффект. (Если вы думаете, что мы здесь имеем дело с магией, а не с простой гиперболой, ответ будет примерно таким же.) То, что Еврипид говорит о стыде, мы можем сказать и об преувеличении; что есть хороший вид и плохой. Хороший, так сказать, интенсивный; плохой - просто экстенсивный. Превосходный метод гиперболы отражает какое-то большое скрытое значение, это может быть мелочь или пустяковое действие. Нехудожественная гипербола — это просто преувеличение, которое никого не впечатляет.

Любой, кто хоть немного читал древнекельтскую литературу, должен был быть поражен присутствием в ней очень большого элемента огромного и почти безумного преувеличения. Я очень много говорю с поправкой, поскольку мне приходится работать с переводами, но никто не может ошибаться в столь простом вопросе. Я действительно слышал, как человек, читающий по-ирландски, сказал, что, по его мнению, некоторые преувеличения были просто юмористическими; но даже этот ученый не отрицал, что преувеличения были, и их было много. Из *"Тайн Бо Куалнге"* (главного документа древней Ирландии), переведенного профессором Джозефом Дуном, я беру часть описания Кухулина в одном из его приступов ярости. *Затем он превратил свое лицо в румяную чашу. Он запихнул один глаз себе в голову, так что это была бы тяжелая работа, если бы дикому журавлю удалось вытянуть его до середины щеки из задней части черепа. Его вторая половинка выпрыгивала наружу до тех пор, пока не оказалась у него на щеке, так что стала размером с чайник в пять кулаков, и он сделал из нее красную ягоду у себя на голове. Его рот был чудовищно перекошен и вывернут до ушей. Он оттянул щеку от челюстной кости так, чтобы была видна внутренняя часть его горла. Его легкие и легкие фонари выделялись так сильно, что трепетали у него во рту и пищеводе. Он нанес бешеному льву удар верхней челюстью по своему собрату так, что каждая красная, огненная чешуйка, которую его зубы загнали в рот из пищевода, была размером с шерсть трехлетнего вереска. Послышался громкий стук его сердца о грудь, похожий на визг воющей ищейки или на то, как лев крадется среди медведей. Были видны факелы Бадба, и дождевые облака яда, и искры пылающего красного огня, пылающие и вспыхивающие в дымке над его головой от кипящего поистине дикого гнева, который поднялся над ним. Его волосы топорщились по всей голове, как ветви красного терна, просунутые в брешь в огромной живой изгороди. Если бы королевскую яблоню, усыпанную королевскими плодами, кто-нибудь потряс, едва ли хоть одно яблоко из них упало бы через него на землю, скорее всего, яблоко застряло бы там на каждом волоске из-за гнева, который встретил его, когда оно поднялось из его волос над ним. Лон Лайт ("Свет Чемпиона") выступал из его лба, так что он был таким же длинным и толстым, как точильный камень воина, так что он был длиной с его нос, пока он не пришел в ярость, сражаясь со щитами, оттесняя возничего, уничтожая войска. Такой же высокий, такой же толстый, такой же крепкий, такой же устойчивый, такой же длинный, как парусина какого-нибудь огромного первоклассного корабля, был прямой фонтан темной крови, который поднимался прямо из самого гребня его короны, так что черный колдовской туман был подобен дыму из королевской гостиницы, когда король приходит на помощь с наступлением сумерек зимнего дня.*

Было бы ошибочной и скучной критикой порицать что-либо столь характерное как плохое само по себе. Если такие преувеличения плохи, то это должно быть потому, что плох весь класс литературы, к которому они принадлежат. Но любой, кто сказал бы это, был бы (не хочу придавать этому слишком большого значения) ослом. Тем не менее, было бы парадоксально утверждать, что только что процитированный отрывок написан в наилучшей манере. Кухулин напоминает Ахиллеса, и поучительно сравнить обращение с Кухулином в "*Тайне злодеяния*" с обращением с Ахиллесом в "*Илиаде*". В каком-то смысле сравнение бесконечно несправедливо. Это сопоставление того, что некоторые считают величайшим стихотворением в мире, с чем-то сравнительно грубым и примитивным. Но это сделано просто для того, чтобы проиллюстрировать суть искусства. В остальном никакой несправедливости не происходит. Если сравнить битву Фердианда и Кухулина, которая является венцом *Таина*, с битвой между Гектором и Ахиллесом, которая, возможно, является венцом *Илиады*, нельзя не заметить, что преимущество в доблести и рыцарстве, а также основной пафос ситуации - все на стороне ирландцев. Но в чистом искусстве повествования, ([Примечание 182](#))какая разница! *Таин*, не лишенный мастерства, совершает кульминационные подвиги, создавая впечатление смертоносной силы и мастерства у своего героя. Но все это изрядно преувеличено, и в конце концов вы настолько не доверяете рассказам Кухулина о "Гае Булга" (этом таинственном оружии), что перестаете его бояться. Что делает Гомер? Он показывает вам две одинокие фигуры на равнине Трои: Гектора перед скайскими воротами и Ахилла вдали, у реки Скамандрос. И по мере того, как Гектор готовится к поединку, который должен стать смертельным для одного из них, все ближе и ближе, с дикой поспешностью, солнце играет на его доспехах, подбегает Ахилл. Ничего не происходит, только этот тихий, неутомимый бег человека. Но это действует на нервы так же, как действовало на Гектора.

Или возьмем это необычное описание Света Чемпиона. Так получилось, что у Ахилла тоже есть нечто подобное. Но то, что гротескно в случае с Кухулином, в случае с Ахиллесом имеет поразительный эффект реальности. Троянцы разгромили ахейцев и подошли совсем близко к кораблям в отсутствие Ахилла на поле боя, как вдруг перед ликующим врагом снова появляется герой. *Вокруг его головы святая богиня сплела золотое облако и зажгла из него всепроницающее пламя. И как когда дым, поднимающийся над городом, поднимается к небу на далеком острове, осажденном воинами, и весь день народ сражается в жестокой битве перед своим городом, но с заходом солнца густым пламенем вспыхивают тюки, и сияние поднимается высоко, чтобы его могли видеть окружающие жители, так что, может быть, они приплывут на своих кораблях, чтобы предотвратить гибель, — так и от головы Ахиллеса свет вознесся к небесам. Он прошел от стены до рва, он остался стоять — не* ([Примечание 183](#)),*смешиваясь с ахейцами, ибо он внял мудрому велению своей матери. Там стоял он и кричал — и, стоя в стороне, звала Афина; но среди троянцев поднялось смятение бесконечное.... И колесничие были поражены, когда увидели, что над головой великодушного сына Пелея горит неугасимый, ужасный огонь, который богиня сероглазая Афина заставила гореть.* Видите ли, поэт описывает не Свет Победителя, а его воздействие. Точно так же нигде не описывается лицо Елены, только то, какое воздействие она оказала на стариков Трои. Такое искусство выше наших похвал.

Можно пожаловаться, что я беру крайние примеры — эллинского такта и умеренности, с одной стороны, и романтической экстравагантности - с другой. Это признано, но процесс кажется оправданным; вы должны позволить мне проиллюстрировать мою точку зрения. Аргумент заключается в том, что романтический стиль имеет тенденцию к более щедрому

использованию гиперболы, чем греческий. Я не могу представить, чтобы кто-нибудь это отрицал. Почитайте о каком—нибудь кошмарном подвиге силы в кельтской истории, а затем прочтите что-нибудь у Гомера (не слишком ли много я привожу Гомера?) - что-нибудь вроде этого: *Айас, сын Теламона, первым убил человека, ударив его зазубренным камнем, который был в стене у зубчатого вала, огромной грудой лежал поверх всего остального, и ни один человек не смог бы с легкостью удержать его обеими руками, даже в расцвете юности — такой, как сейчас... но Айас размахнулся и швырнул это сверху.* Как говорит умеренность! Насколько этот Айас действительно более грозен, чем Эней, когда Вергилий (с римским или кельтским преувеличением) говорит, что он отлил “немалую часть горы”!

Материя этого деликатеса будет издеваться над жестким обращением. Вообще нет никаких правил, которые можно было бы установить, кроме (Примечание 184) правила, которое выше правил, инстинкта художника. Границы преувеличения — а в некотором смысле все искусство есть преувеличение — меняются вместе с изменением того, что можно назвать горизонтом души. Ясно, например, что атмосфера Семейной драмы или Описательной поэмы заметно отличается от атмосферы Героического эпоса или Хоровой Оды. *Гейб*, подходящий Оливеру или Капанеусу, звучал бы очень странно в устах Холи Вилли или Питера Белла; это могло быть только пародийное притворство. Чувствительность человека к этой атмосфере, следовательно, темперамент читателя, его критический вкус, характер его образования — все это и многое другое влияет на его реакцию на то, что он читает. У нас был иной опыт, чем у древних, и мы живем, так сказать, в других эмоциональных декорациях. Гипербола имеет большее значение в нашем искусстве, чем в их. К устройству как таковому не могло быть никаких возможных возражений. Когда думаешь о великолепных и опьяняющих гиперболах романтической литературы от “Опахала рога Роланда” до “Плейбоя западного мира”; когда думаешь, в какой степени они сформировали стиль Шекспира, греки кажутся немного робкими по сравнению с ними. Возможно, так оно и было, хотя я не могу поверить, что их мучила робость. Только они строже оберегали себя от опасности, которую ощущали острее, чем мы, и в которую мы попадали чаще.

Искусство, конечно, должно идти туда, куда несут его собственные ветры и течения. Запрещать ему быть самим собой из-за того, что оно не греческое, - крайняя, хотя, к счастью, бессильная, бессмыслица. Но будет чрезвычайно интересно посмотреть, как современное искусство собирается спастись от двух крайностей жестокости и сентиментализма — недостатков варвара, — с которыми оно так явно и так мучительно борется. Греки решили эту проблему, и их решение остается в силе. Тем временем изучающий греческий язык может немного помочь, объяснив, в чем заключается решение. Поскольку оно было очень неправильно понято.

Секрет был наполовину раскрыт в эпоху Возрождения. Таким образом, в Англии Мильтон научился у греков ценности формы для концентрации смысла и тому, что поэзия должна быть не только “чувственной и страстной”, но и “простой”. Но Ренессанс выпил слишком много молодого вина, чтобы сохранять голову достаточно твердой; а это, в свою очередь, помогло спровоцировать пуританскую реакцию, которая не доверяла искусству и поэтому сильно отличалась от греческого аскетизма, который сам по себе был разновидностью искусства. Реставрация привела к новой ориентации английского духа и новой интерпретации классики. Отталкиваемая экстравагантностью и часто возмутительной неряшливостью декадентского елизаветинизма, эпоха Драйдена, передав свой импульс эпохе Поупа, влюбилась в спокойствие и умеренность древних, и прежде всего в их совершенство формы. Это

восхищение было превосходным и спасительным для того времени. Но, казалось, было достаточно смотреть на поверхность. Возникла поэзия, которая стремилась прежде всего к простой корректности. Как будто греческая поэзия не стремилась ни к чему, кроме этого!

Современное романтическое движение — я имею в виду новый дух в английской литературе, инициатором которого считается "*Лирические баллады*", — было в значительной степени восстанием против классицизма восемнадцатого века. И все же нельзя с полной уверенностью сказать, что романтики представили более справедливую концепцию классического искусства. Они начали с предубеждения против него, которое их открытие средневековья лишь подтвердило. Вордсворт действительно (в нем была большая часть восемнадцатого века) чувствовал притягательность классического искусства, но его лучшие работы не в таких вещах, как *Лаодамия*. Лэндор не грек, так же как Леконт де Лиль не грек. У них греческое совершенство форм, но (за исключением его редких лучших работ Ландора) они ледяные; в них нет того накренившегося и горящего изнутри огня, который отличает Сафо, например, от всех остальных. Считалось, что ни один английский поэт не подошел ближе Китса к разгадке древней тайны. *Ода греческой урне* почти повторяет это. Но не совсем. *Красота - это Истина, истинная Красота* - это очень по-гречески; но не по-гречески забывать, как Китс и его последователи были склонны забывать, вторую половину своего афоризма. Таким образом, греческие поэты стремились не столько непосредственно к красоте, сколько к истине вещей, которые они считали прекрасными; и этот реализм — это усилие осознать мир таким, каков он есть, — остается, несмотря на большой элемент условности в греческой поэзии, наиболее характерной чертой греческого поэтического гения.

В самом разгаре романтического движения мы находим Мэтью Арнольда, призывающего вернуться к эллинским стандартам. Как ни странно, эта просьба не возымела особого эффекта. Если вы прочтете *Меропу* сразу после "*Аталанты*" в "*Калидоне*", вас это вряд ли удивит. На самом деле Арнольд видел только половину правды. Он взывает к греческому здравому смыслу и отсутствию капризов; он не взывает к греческой интенсивности, греческому реализму. Он призывает к такту и умеренности — одним словом, к хорошим манерам в стиле, которые казались столь важными для восемнадцатого века. Доктрина была слишком негативной для того времени. Вряд ли можно сказать, что это вдохновляет на лучшие работы самого Арнольда. Да, именно это в нем и не так, это не *вдохновляет*; и поэтому, хотя это основано на правильном инстинкте, на самом деле это не возвышает его над своим временем. Ему не нравился Теннисон, которого он обвинял в притворстве. Но он не понял бы возражений двадцатого века против Теннисона, что ему не хватало смелости его гения. Если бы он это понимал, то, несомненно, встал бы на сторону Теннисона, поскольку Арнольд, в конце концов, был в основном "викторианцем". Но как вы думаете, что сказал бы Аристофан о Теннисоне? Если ответ не очевиден сразу, причина, должно быть, в трудностях, которые возникли бы при попытке заставить грека времен Аристофана вообще понять викторианскую робость.

Говорят, что нынешняя эпоха находится в состоянии крайнего бунта против викторианства. К сожалению, человек может быть в состоянии полного бунта и все же всего лишь трясти своими цепями. Есть вещь, которая совершенно ясна. Пароксизмальное искусство того времени должно вызвать свою неизбежную реакцию. Снова раздадутся призывы к возвращению к урбанистичности и более строгой форме, и люди снова будут называть эти вещи классическими, как будто это все, что может предложить классика. И тогда в должное время снова произойдет встречное колебание маятника. Что ж, возможно, искусство зависит от этого

непрерывного движения больше, чем мы думаем; ибо любое искусство направлено на создание эффекта жизни, а жизнь - в движении.

III

Если бы не изначальная уместность этого различия, было бы лучше вообще не говорить о “классическом” и “романтическом”. В этом, очевидно, виновата современная критика, которая скрыла тропинку под таким густым ливнем разноцветных листьев, что теперь приходится тратить много времени только на то, чтобы их подметать. Досадно, насколько неадекватны современные термины критики для выражения сути древней литературы. Я намекнул, что это можно было бы выразить почти словом “реализм”, и тут же меня останавливает мысль о том, что реализм в современной речи, по-видимому, означает все, что вам угодно. Как же тогда мужчине избежать того, чтобы его неправильно поняли? Но он должен рискнуть; и в целом для него будет безопаснее схватить этого беглеца за волосы, чем сеять новые определения в почву, которая уже истощена.

Греческая литература реалистична в том смысле, что она стремится создать эффект реальности не за счет накопления поразительных деталей — возможно, именно это обычно подразумевается в наши дни под реализмом, — а за счет своего собственного метода. Греческая литература отмечена уникальной искренностью, или правдивостью, или прямоотой, одинаково чуждой насилию и сентиментальности — мог бы сказать озлобленный человек, одинаково чуждой тому, что мы сейчас называем (Примечание 189) реализмом и тому, что мы сейчас называем идеализмом. Эта правдивость настолько глубока, что мы (те, кто ежедневно требует от наших писателей решительной верности фактам) еще не озвучили ее. Для этого нужно долгое падение. Очень многие из нас пришли к выводу, что истинность ситуации видна только во вспышках молний — предпочтительно красных, — которые греки считали искажающими. Мы думаем, что мы искренни, но на самом деле мы не так уж и искренни. Я никогда не смог бы стать одним из тех фанатичных защитников древности, для которых современность - просто враг. Их положение настолько патетически несостоятельно, что остается только со вздохом заняться чем-то действительно важным. Но каким бы современным я себя ни чувствовал, я не могу заставить себя поверить, что мы достигаем такой совершенной правдивости, как греки. Мы написали тома о “классическом идеале” и склонны противопоставлять “эллинский идеализм” нашему бескомпромиссному современному “Реализму” и “натурализму”. И все это время у греков был более истинный реализм, чем у нас.

Например, в последнее время мы почти специализировались на ранах и смерти. Этого нельзя сказать ни об одном древнем писателе. Достаточно любопытно, что о Гомере вы могли бы сказать это с меньшей неприличностью, чем о ком-либо другом. Воин, по его словам, был пронзен копьем в сердце, *и биение сердца заставляло дрожать и наконечник копья*. Это вызывает у вас вполне удовлетворительную дрожь. Менелай ударил Пейсандра *выше корня носа; кости треснули, и из глаз его закапали кровавые капли в земную пыль у его ног*. Вот как Пенелеос обошелся с Илионеем. *Он ранил его под бровь, туда, где находится глаз, и выбил пулю, и копье прошло (Примечание 190) прямо сквозь глаз и мышцу сзади, и раненый присел, раскинув руки; но Пенелеос, выхватив свой острый меч, рассек ему шею посередине и разбил голову о землю вместе со шлемом и всем остальным; и тяжелое копье все еще было в глазу, и он поднял голову, как маков цвет*. Я подозреваю, что ваш современный реалист завидует изображению окровавленной головы, насаженной “через глаз” на копье и выглядящей как

“мак” или “маковая головка” на стебле. Другой неудачливый боец был поражен *в рот* копьем, которое проникло *под мозг и сломало белые кости; зубы были выбиты, оба его глаза наполнились кровью, и из-за того, что он разинул рот, кровь хлынула ему в ноздри*. Младший сын царя Приама был ранен Ахиллом *в область пупка*, и поэтому *со стоном упал на колени и прижал к себе внутренности руками*— отрывок, запомнившийся Патеру.

Из этого и других отрывков видно, что Гомер, когда хочет, может быть таким же ужасным, как мистер Сассун. Но они не типичны для Гомера, а тем более для древнегреческих писателей в целом. У них не принято выпячивать детали. Их цель - передать вам ситуацию в целом, и передать ее правдиво. Их метод заключается в отборе значимых, а не просто бросающихся в глаза деталей. По зрелом размышлении такую теорию и метод лучше всего назвать реализмом. Кебрионесу, возникшему Гомера, камнем проломили лоб, и из-за его тела разыгралась ужасная битва. Поэт в пылу своей битвы на мгновение задумывается о мертвом человеке. *Но он лежал в кружащейся пыльной буре, широко раскинув большие конечности, забыв о своем искусстве верховой езды*. Здесь никто не настаивает на ужасной ране. (Примечание 191) Читатель, получивший передышку, уносится от крови и ужаса в тихие пространства забвения. Разве это, именно здесь, не та нота, которую нужно взять, а не другая? Это придает всей ситуации — реву смятению наверху, невнимательному телу внизу — не просто один аспект. Это более реально, потому что это не просто болезненно.

Сравните, опять же, греческое отношение к смерти со средневековым и современным. Посмотрите, сколько отрывков о смерти, которые вы можете вспомнить у писателей не древности, вдохновлены гротескным или рефлексивным ужасом, или звучат с надеждой или безнадежным вызовом. Подумайте о Вийоне в “смерти”, и о Роли, и о Донне, и о шекспировском Клаудио, и о *Гидриотафии*, и о Браунинге, и о Суинберне. В великую эпоху греческой литературы нет ничего, даже отдаленно сравнимого с великолепным разнообразием этих снов и призывов. Но если речь идет о реализме (как мы его понимаем), если мы решаем видеть смерть такой, какая она есть, не преображенной надеждой и не затуманенной слезами, посмотрим, нет ли у древних преимущества.

Поначалу они вас разочаруют. (Но помните, что вы просите реализма.) Таким образом, когда Аристотель в своей сухой манере говорит, что *смерть - самая страшная вещь; ибо это конец, и ничто после него не кажется мертвецу ни хорошим, ни плохим*, вы можете подумать, что наносить удар неразумно. Но Аристотель вовсе не демонстрирует позицию, он просто сталкивается с фактом. Конечно, он может ошибаться, но именно так выглядит смерть для Аристотеля, и он не собирается позолачивать пиллюлю ни для вас, ни для себя. Но если вам не хватает в Аристотеле трепета величайшей литературы, вы должны почувствовать это в последних словах Сократа судьям, которые осудили его. *Но теперь настал час ухода, (Примечание 192) для меня, которому предстоит умереть, для вас, которым еще предстоит жить; но какой путь ведет к лучшей участи, скрыто от всех, кроме Бога*. И с этими словами Сократ замолкает, оставляя читателя тоже молчащим и, возможно, немного пристыженным нашими назойливыми адами и небесами.

Одиссей встречает призрак Ахилла в Аиде и говорит о великой чести, которой пользуется здесь юный герой. *Не о смерти*, отвечает Ахилл, *говори словами утешения, славный Одиссей! Лучше бы я был наемным слугой человека без гроша в кармане, у которого средства к существованию невелики, чем царствовать над всеми погибшими мертвецами*. Истина,

какой он ее видит, - это то, что вы получаете от грека каждый раз. Одиссей слышит это от Ахилла, величайшего из мертвых. Он слышит это от Эльпенора, одной из самых маленьких. (Эльпенор напился в доме Цирцеи и, почувствовав жар, забрел на крышу, где заснул, и все забыли о нем. Утром он был разбужен шумом передвигающихся людей и вскочил, забыв, где находится, упал навзничь с крыши и сломал шею.) *Ах, не уходи и не оставляй меня непогребенным, повернувшись ко мне спиной, чтобы я не сталместилищем гнева богов на тебя; но похороны меня со всеми моими доспехами и на берегу белеющего моря насыпь мне высокую могилу человека, которому не повезло, чтобы даже спустя века мог знать. Сделай это для меня, и на моей могиле положи весло, которым при жизни я греб среди своих товарищей.* Естественный пафос этого должен коснуться каждого. Но мне интересно, все ли чувствуют, насколько его эффект обусловлен почти резким избеганием сентиментальности, как в той скрытой угрозе умоляющего призрака. И даже эта пронзительная последняя строка о весле — некоторых читателей может огорчить известие о том, что установка (Примечание 193) весла на могиле было всего лишь частью ритуала, обычно соблюдаемого при погребении мертвого моряка.

The Корпус греческих надписей, естественно, содержит великое множество эпитафий. Нет ни одного человека, принадлежащего к тому, что мы считаем великой эпохой Греции, в котором было бы хоть малейшее зерно самодовольства, лицемерия или сентиментальности. Следует признать, что эти “язычники” могли бы умереть с благосклонностью. Вот надпись, *incerti loci*, “неопределенного происхождения”, но на греческом языке Аттики. *Гробница Фразиклеу: “Я буду называться девой во веки веков, получив от богов это имя вместо замужества”.* Я должен сразу добавить, что в оригинале написаны серьезные и прекрасные стихи. Я могу только передать смысл. Нужно читать по-гречески, чтобы полностью почувствовать, насколько хороша Фразиклея. По крайней мере, она не Маленькая Нелл. Некоторые из самых известных эпитафий принадлежат известным авторам; самая известная из всех - Симониду. Над тегейцами, павшими в битве с варварами, он написал: *Здесь покоятся люди, чья доблесть была причиной того, что дым не поднимался к небесам от горящей широкой Тегеи; которые решили оставить свой процветающий город на свободе своим детям, а самим умереть среди передовых бойцов.* Все эти маленькие стихотворения не поддаются переводу. Их искусство заключается в нарочитой неприкрытости или лысине, которая должна быть шокирующе прозаичной (и в английском языке почти неизбежно является таковой), но на самом деле превращается в волнующую поэзию. Самая прекрасная из всех эпитаграмм - это эпитаграмма о Трехстах павших при Фермопилах. *О чужестранец, скажи лакедемонянам, что мы лежим здесь, следуя их указаниям.* Буквально так здесь сказано. И все же я полагаю, что даже человек, не знающий греческого, может инстинктивно почувствовать, что в оригинале это может быть необычайно хорошо. Так и есть. Это пример знаменитой Лаконичной краткости, достоинством которой было сразу попадать в самую суть вещей. Я добавлю еще одну эпитаграмму, отчасти потому, что она также относится ко времени Персидских войн, отчасти потому, что об авторе говорили (возможно, справедливо), что это Платон. Речь идет о жителях Эретрии, города на Эвбее на берегу моря, которые были уведены в плен и поселены Дарием далеко, безнадежно далеко, “в Ардерикке в кисийской земле” за Тигром. *Мы, однажды покинувшие звучную зыбь Эгейского моря, лежим здесь, в самой середине Экбатанской равнины. Прощай, Эретрия, наш некогда знаменитый город; прощай, Афины, соседи Эретрии; прощай, дорогое море.* Рядом с этим простой “пафос” выглядит почти вульгарно. Если Платон написал это, он, несомненно, был поэтом; но маловероятно, что он это сделал. Я заметил, что профессор Бернет

считает, что Платон не написал ни одной из поэм, приписываемых ему в рукописях. В любом случае, когда люди говорят, что Платон был “настоящим поэтом”, они имеют в виду его прозу. Я не могу удержаться от неуместного добавления, что я бы хотел, чтобы они не повторяли этого. Он несравненно великий мастер образной прозы. Разве этого недостаточно? Возможно, он разбирался в поэзии не лучше Рескина или Карлайла. Поэт - это человек, который пишет стихи.

После смерти великим испытанием на искренность становится любовь. Раньше существовало общее мнение, что любви, как мы ее понимаем, у древних вообще не существовало. Этот момент уже обсуждался, но мы можем немного рассмотреть трактовку любви у аттических драматургов, которые лучше всего представляют великий период развития Афин. В них много любви, только они не упоминают об этом. “Пожалуйста, (Примечание 195) не проявляйте нетерпения, - как говорят греческие ораторы, - пока не услышите, что я имею в виду”. Давайте сначала возьмем Эсхила, самого раннего из драматургов, а для пьесы возьмем его “Агамемнона”. Великий персонаж - Клитемнестра. Она позволила себе стать любовницей мерзкого и трусливого родственника своего мужа по имени Эгист, который, очевидно, соблазнил ее из простой праздности и ненависти к царю Агамемнону. Когда ее муж возвращается, она предательски убивает его.... Что вы собираетесь сказать о подобном предмете? Как вы собираетесь сделать Клитемнестру, я бы не сказал “симпатичной”, а просто человеческой и терпимой? Это кажется неразрешимой проблемой. И все же Эсхил решает ее. Во-первых, он представляет Агамемнона, номинального героя пьесы, довольно деревянным, слабым и напыщенным — не очень похожим на Юлия Цезаря, номинального героя пьесы Шекспира, где у драматурга была похожая, но менее сложная проблема. В результате симпатии читателя не слишком глубоко затрагиваются в пользу жертвы. Опять же, Клитемнестра, по-видимому, действительно влюблена в Эгиста, в то время как ее чувство к мужу - это не просто жажда мести или ненависть, которую женщина испытывает к мужчине, которому она причинила зло; это физическое отвращение. Она ненавидит его всей душой. Невозможно объяснить, какое чудо гения привело нас к такому впечатлению, ибо она не говорит ничего, кроме лести и обольщения. И все же каждая ее речь, обращенная к нему, как он смутно чувствует, вызывает у него тайное отвращение. Эти длинные, блестящие, извивающиеся предложения, безусловно, не являются политическими; они являются выражением болезненного отвращения, которое в конечном итоге само по себе завораживает. Когда кровь ее господина (Примечание 196) проливается на нее, она *радуется не меньше, чем засеянная земля яркому дару небес в виде дождя*. Теперь в пьесе Агамемнон довольно неэффективен, но, во всяком случае, он больше мужчина, чем неизмеримо презренный Эгист. Можно ли предположить, что Клитемнестра этого не знает? Конечно, она знает, но из-за этого не перестает любить Эгиста. Итак, дело остается в силе. Эсхил ничуть не облегчает вам задачу. Плохой современный драматург изобразил бы Клитемнестру прискорбно непонятой женщиной с жалким “случаем”. Так случилось, что у царицы действительно есть что-то вроде случая, действительно хороший случай, но она не особо настаивает на этом. Она прекрасно знает, что убила короля не ради своей убитой дочери. И не из страха разоблачения; женщина не знает, что такое страх. Эсхил не купит вашу симпатию к ней никакими предложениями. Один из его неожиданных, замечательных штрихов - наделить ее великолепным умом. Она чувствует себя настолько интеллектуально выше всех остальных, что едва ли утруждает себя тем, чтобы обманывать их. Никого не просят любить Клитемнестру, но, несомненно, она дает пищу для некоторых размышлений о силе и тонкости греческой психологии и непоколебимой правдивости греческого реализма в особенно сложных сердечных делах.

У Софокла есть по крайней мере два прекрасных и нежных исследования супружеской любви общепринятого (но не глупого общепринятого) типа, а именно Текмесса в "Аяксе и Дейанейра в Трахинских женщинах"; и одно исследование, по меньшей мере, нетрадиционное, "Иокаста" из "Царя Эдипа". Это женщина, которая покончила с собой, потому что родила детей своему собственному сыну, который убил своего отца, который зачал его от нее. Легенда сделала ее порождением ночи и ужаса. Софокл сделал ее величественной, гордой, скептической, одинокой, жалкой, опустошенной мыслями, которыми невозможно дышать, ужасно жалкой. Но эти трое - жены. О любви между мужчиной и девушкой Софоклу почти нечего сказать. Люди цитируют Хаймона и Антигону. Нет сомнений в любви молодого человека к Антигоне; он умирает за нее. Но влюблена ли она в Хаймона? Она, конечно, помолвлена с ним, но в Древней Греции эти вопросы были улажены. Вероятно, он ей очень нравился; он всем нравится; но мы говорим о любви. Те, у кого мало сомнений на этот счет, цитируют ее крик: *"Дорогой Хаймон, как твой отец пренебрегает тобой!"* которые она произносит, когда Креон говорит: *Я ненавижу плохих жен для своих сыновей.* Но они не имеют права цитировать этот крик как ее собственный, пока не докажут, что она его произносит; чего они не делают, а просто предполагают, что рукописи неверны. Рукописи посвящают эту строку Исмene, сестре Антигоны, и они, по-видимому, совершенно правы. Любой, кто посмотрит на контекст, увидит, что именно Исмene упоминает Хаймона в споре с Креоном. Антигона стоит в стороне в гордом и возмущенном молчании. Она скорее умрет, чем позволит человеку, который оскорбил ее покойного брата, увидеть, чего ей стоило ее сопротивление. Кроме того, я думаю, что рукописи в любом случае правы. Представьте себе случай с чрезвычайно благородной молодой леди, которая по самым благим причинам поссорилась со своим будущим свекром. Сестра молодой леди напоминает старику, что, в конце концов, Октавия помолвлена с его сыном, что вызывает ответную реплику: "Я возражаю против плохих жен для моих мальчиков". Воскликнула бы Октавия тогда: "Дорогой Уильям, как твой отец оскорбляет тебя!"? Ну, стала бы? Но это восхитительно похоже на то, что сказала бы сестра Октавии. Поэтому я голосую за рукописи и отдаю реплику Исмene.

У Антигоны было два брата, Этеокл и Полиник. После того, как их отец был изгнан из Фив, братья оспаривали наследование его трона. Полиник проиграл и укрылся в Аргосе, где собрал помощь и выступил против своего родного города. Попытка не увенчалась успехом, и Полиник и Этеокл пали в единоборстве. Это взаимное братоубийство сделало Креона, их дядю, королем. Он, охваченный пламенем "патриотизма", приказал похоронить Этеокла с почестями и приказал оставить тело Полиника непогребенным. Такой приказ можно было бы сравнить с отлучением от церкви, поскольку результатом его было то, что дух умершего навсегда лишился покоя. Антигона посыпала обнаженный труп пылью, чем удовлетворила богов подземного мира и избежала наказания в виде запрета. Когда Креон спрашивает ее, не возмутится ли дух Этеокла избиением своего братского врага — что было бы ортодоксальным мнением, — она отвечает красиво, но непоследовательно: *Не в моей природе разделять ненависть, но в любви.* Она также говорит о высшем, неписаном законе. Но Полинейк - любимый брат. Я вряд ли думаю, что кто-то может внимательно читать *Антигону* и *Эдипа в Колоне*, не заметив этого. На протяжении всей *Антигоны* он не выходит у нее из головы. "Вполне естественно", - можете сказать вы. Но так ли это? Исходя из предположения, что она влюблена в Хаймона? Есть еще одна пьеса, "Электра", в которой Софокл изображает любовь сестры к брату; и между Электры и Антигоной есть немало общего. Только в любви Электры к Оресту (которого она воспитала) есть свирепое, голодное материнское качество, которое было бы неуместно между детьми Эдипа.

Когда мы переходим к Еврипиду, то по сравнению с ним нам кажется, что мы приближаемся к современности. Впечатление в значительной степени иллюзорное, но не полностью ложное. Это тот факт, что его беспокоят многие проблемы, которые беспокоят нас, и это тот факт, что он иногда отвечает или не отвечает на них так, как мы должны считать современным. Это проявляется в его трактовке любви. Лучше всего это видно на *Медее* и *Ипполите*. Медее представляет для нас особый интерес, потому что она варварка (принцесса Колхиды в восточном углу Черного моря). Но ее случай довольно прост. Она женщина, влюбленная в мужчину, который устал от нее. По необходимости, он является плохой фигурой в этой истории. Она спасла ему жизнь. С другой стороны, она бросилась ему на шею, она сделала все возможное, чтобы лишить его шансов в жизни, и все, что она могла теперь предложить ему, - это совершенную готовность убить любого, кто встанет у него на пути. Она из тех женщин, которые никогда не бывают удовлетворены, если мужчина не занимается с ними любовью все время, так что можно испытывать тайное сочувствие к этому смущенному, хотя и вызывающему некоторое презрение Джейсону. Действительно, мнение Еврипида об этом виде “романтической” любви, вероятно, не выше, чем у мистера Шоу. Это страсть женщины-варварки. Это не мешает Еврипиду глубоко сочувствовать Медее, страстной, обиженной иностранке. Действительно, почему это должно быть так? Случай с Медеей, как его представляет Еврипид со свойственной греческому искусству лаконичностью, многим казался таким же правдивым, как смерть. Это отличный пример реализма.

Более определенно, чем *"Медее"*, *"Ипполит"* - трагедия любви. Однако в красноречии романтического любовника одно столь же несовершенно, как и другое. Федра умирает из-за любви к Ипполиту. Ее тайна раскрыта, и она умирает от стыда. Какая возможность для сентиментального человека! Однако, добавляет неумолимый поэт, это еще не вся история. Прежде чем покончить с собой, она подделала послание своему мужу, в котором излагала обвинение жены Потифара против Ипполита. Она не могла умереть без удовольствия причинить ему боль. И все же Еврипид не представляет ее как одиозную женщину; совсем наоборот. Вопрос для нас в том, кажется ли она, когда мы читаем пьесу, реальной или нет? Поэт поставил перед собой трудную задачу — убедить нас, что душа, обуреваемая желаниями, жестокая, лживая, несправедливая, была все же по сути скромной, нежной и благородной. Если она будет почти слишком убедительной, так что сентиментальная часть вас обольется кровью, вы поймете, что реализм был изобретен не в Норвегии. И в греческом роде есть одно свойство: он никогда не преувеличивает.

Трудно поверить, какой поразительный эффект правдивости может произвести эта умеренность греческих авторов. Сафо в самой известной из своих од говорит, что любовь заставляет ее “потеть” от агонии и выглядеть “зеленее травы”. Возможно, она не стала такой зеленой, хотя (благородно замечают комментаторы) у нее был бы оливковый цвет лица, и она никогда не видела британской травы. Но, даже если в ней есть доля художественного преувеличения, ода в целом, пожалуй, самое убедительное стихотворение о любви, когда-либо написанное. Оно дышит правдивостью. В нем есть опьяняющая красота звука и внушения, и он точен, как физиологический трактат. Греки умеют делать подобные вещи. Каким-то образом мы либо переусердствуем с “красотой”, либо с физиологией. Слабость варвара, говорили они, в том, что он никогда не попадает в середину. Но греческий поэт, кажется, делает это каждый раз. Мы можем превзойти их в чем-то другом, но не в этом. И они делают это без особых усилий; иногда может показаться, что совсем без усилий. Таким образом, Эсхил представляет Прометея как гордешее из живых существ. *"Прикованный к Прометею"* начинается сценой, в которой

Гефест, подгоняемый двумя дьяволами по имени Сила, приговждает Прометея к замерзшей пустынной скале. Пока герой пьесы терпит эту ужасную пытку, ему приходится выслушивать неуклюжее сочувствие Гефеста, которому не нравится его работа, и жестокие насмешки двух демонов. На все это он отвечает — вообще ничего. Никакое красноречие не могло бы выразить гордость этого потрясающего молчания. Конечно, есть или были комментаторы определенного типа, которые спешат указать, что обычай ранней аттической стадии запрещал более чем двум персонажам трагедии говорить вместе одновременно, так что в любом случае Прометею говорить было запрещено. Все, что вы можете сделать с таким критиком, это (боюсь, мысленно) повесить ему жернов на шею и бросить в самую глубокую часть моря.

Нет, но то, что пункт об условностях, если его правильно понимать, чрезвычайно примечателен. Не перестает удивляться, как реализм, который мы обсуждали, мог сочетаться с ограничениями, наложенными на античного поэта, и даже, как в том случае из *"Прикованного к Прометею"*, мог использовать их, как в том случае из *"Связанного с Прометеем"*..... Читателю, который не знакомился с этим делом, трудно дать даже общее представление о нем. Если бы человек сказал вам, что он написал роман, в котором героем был сэр Энтони Дирборн, а героиней - София Уайлд, в то время как другими персонажами были сквайр Крэбтри, пастор Квакенбосс, лейтенант Дэшвуд и старая герцогиня Гримторп, вы бы подумали, что точно знаете, чего ожидать. И все же вы должны признать, что ничто не мешает человеку опустить (если он может) Гретна-Грин, дуэль и клятвы восемнадцатого века. Но если греческий трагик-драматург ставил на сцену пьесу, посвященную, скажем, Дому Атрея, он положительно не мог упустить ни одной детали семейной истории. Этого сделано не было. Итак, зрители уже знали вашу историю и примерно знали ваших персонажей. Но, как говорят историки, это было не все. Должен был быть Хор, который должен был петь лирические оды мифологического толка через равные промежутки времени между эпизодами вашей драмы; в то время как сами эпизоды должны были быть написаны ямбом и в определенной "трагической дикции", столь же далекой от обычной речи, как *Потерянный рай*. Как Эсхил, Софокл и Еврипид ухитряются в таких условиях производить сильное впечатление новизны и естественности, легче почувствовать, чем объяснить. По крайней мере, насчет ощущения сомнений нет. Давайте еще раз взглянем на это необычное явление - трагический хор. Очень часто он состоит из стариков, которые ... поют и танцуют. Подумайте о невероятных трудностях поддержания торжественности, красоты и даже святости множества поющих и танцующих стариков. И все же великие трагические поэты преодолели эту трудность настолько успешно, что, я полагаю, ни один читатель из сотни вообще не замечает, что трудность существует. Знаменитый Хор стариков в *"Агамемноне"*, чья немощь подчеркивается в пьесе, ни на мгновение не напоминает дедушку Кэнтла. Скорее они напоминают нам о том "старце, покрытом мантией", которого Савл видел поднимающимся из могилы, чтобы произнести свой приговор. По их собственным словам, это похоже на то, как если бы Бог вдохновил их конечности на танец и наполнил их уста пророчествами.

Есть только один способ искупить условность, и это искренность. Я очень далек от утверждения, что нравственная добродетель искренности была в высшей степени характерной чертой древнего грека, но интеллектуальная искренность была. Никто никогда не смотрел на богов и людей такими ясными, непоколебимыми глазами; никто не понимал так хорошо, чтобы передать это видение. Видеть, что сущностная красота — это истина, а истина - это красота, - вот секрет греческого искусства, как и максима истинного реализма. Соблюдать меру во всем, чтобы ни одна капля жизни не пролилась — вот секрет греческого счастья. Быть греком, а не варваром.

Примечания

ПРОБУЖДЕНИЕ

Истоки Ионии, более ранние места проживания и расовая близость ионийцев все еще неясны, хотя этот момент является кардинальным для греческой истории. Возможно, наблюдается растущая тенденция находить “средиземноморские” элементы в ионийском происхождении, и это многое объяснило бы, если бы исторические ионийцы не казались такими “арийскими” по речи и образу мыслей. С другой стороны, сам “ариец” с каждым днем становится все более туманным и двусмысленным, как и его точный вклад в западную культуру.

Главными древними источниками нашей информации об ионийцах являются Геродот, Павсаний и Страбон.

Р. 14. Thuc. I. 2. Thuc. I. 6. Ирод. I. 57.

Р. 15. См. Особенно Д. Г. Хогарта, *Иония и Восток* (1909).

Дж. Бернет, *Кто такой Джаван?* в трудах класса. Доц. Шотландии. 1911-12. Herod. I. 142.

Р. 16. Herod. I. 171 f.

Р. 17. Авторитетной небольшой книгой, посвященной (среди других народов) анатолийским расам, является книга Д. Г. Хогарта "*Древний Восток*" (Home Univ. Сер.), 1914. Также Х. Р. Холл, *Древняя история Ближнего Востока* (1913).

С. 18. В. Берард, "*Феномены и Одиссея*" полон наставлений о путях древнего мореплавателя.

О колхидцах см. Гиппократ *de aer. aq. loc.* 15. Ср. Ирод. II. 104 ф.

П. 19. Халибы. II. II. 857. Ирод. I. 203.

Р. 20. Ирод. IV. 93 г. н.э. Ольвия. Ирод. IV. 18. Скифский лук. Платон, *Законы*, 795-.

С. 21. Ирод. IV. 18 ф.

П. 22. Ирод. IV. 172 f.

Р. 25. Ирод. II. 152. Оскорбительный инскр. в *Руководстве*.

С. 26 Фрагменты Архилоха в "*Поэте. Лирике. Гр.*" Берга стр.

СОХРАНЯЮ ПРОПУСК

Битва при Фермопилах, описанная Геродотом (практически нашим единственным авторитетом), - это эпос. Поэтому, рассказывая это снова, я откровенно попытался использовать эпическую манеру, поскольку она действительно вводит в заблуждение

меньше, чем любое применение исторического метода. Это не означает, что повествование Геродота не было в значительной степени прояснено исследованиями современных историков, особенно захватывающим открытием пути Анопайя мистером Г. Б. Гранди. Я следил за его реконструкцией битвы (которая, возможно, не очень далека от истины) в его книге "*Великая персидская война*" (1901). Смотрите также комментарий г-на Макана к его великому изданию Геродота.

С. 34. Смотрите примечание Фрейзера о Фермопилах в его издании Павсания.

С. 36. Ср. Хен. *Anab.* VII. 4, 4 (Фракийцы Европы).

Р. 39. Тиара. *schol.* Ар. *Птицы* 487. Царскую тиару также называли *китарис*.

С. 39. За персидское платье ср. с Иродом. Strabo 734. Хен. *Кироп.* VII. 1, 2. Есть также изображения в древнем искусстве, например, фриз в Сузах.

ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

П. 45. Страбон IV.

П. 46. Ирод. IV. 44.

Р. 47. *Греческая традиция* (1915), Аллен и Анвин, стр. 6f.

Р. 48. Ирод. IV. 151-153.

Р. 50. Рассказ об оазисе в Сиве см. А. Б. Кук, *Зевс*, том I.

Р. 51. Гимн *ad Apoll.* 391 f.

Р. 52. Pind. *Пр.* 3 н.э., конец.

Р. 53. Ирод. VI. 11, 12, 17. Ср. Страбон об основании Марсея, IV (из Аристотеля).

Р. 54. Ирод. III. 125, 129-137 (Демокедес).

С. 55. Поликрат. Ирод. II. 182 и III *passim*.

Р. 61. Хен. *Анабиоз*. I-IV.
f.61 f.

С. 63. Писидийцы. Ср. Хен. *Memor.* V. 2, 6.

Р. 67. *L'Anabase de Xenophon avec un commentaire historique et militaire*, by Col. (Общие сведения) Артур Буше, Париж, 1913.

С. 69. В Книге Пророка Ионы есть прекрасная образная картина Ниневии.

С. 71. Знаменитый Мольтке чуть не утонул, упав в "теллек".

С. 77. Горячим источником могут быть сернистые воды Мурада, которые имеют чудесный

переливчатый цвет.

Армянские подземные дома все еще можно увидеть. Эти земляные дома встречаются и в других местах — например, в Шотландии. См. Дж. Э. Харрисона в "*Эссе и исследованиях, представленных У. Риджуэю*", стр. 136 и далее.

ЭЛЕУТЕРИЯ

Р. 82. Aesch. *Чел.* 241 ф. Ирод. VII. 104.

Р. 83. *Чел.* 402 ф. евро. *Елена* 276.

Р. 84. Thuc. I. 3, 3 (соответствующие термины “эллины” и “варвары”).

Ирод. I. 136.

Р. 85. Эсхин 3, 132. Письмо Гадатасу, Диттенбу. *Силлог.*² 2.

Ирод. III. 31. Ср. Даниил VI. 37, 38. Иезекииль xxvi. 7.

С. 86. Ирод. IX. 108-113.

Р. 88. Ср. месть персов ионийцам, Ирод. VI. 32.

Ирод. VII. 135.

Р. 89. Ирод. VIII. 140 ф.

Р. 90 ф. “Древние были привязаны к своей стране тремя вещами — своими храмами, своими гробницами и своими предками. Двумя великими узами, которые соединяли их с их правительством, были узы привычки и старины. У современных людей надежда и любовь к новизне привели к тотальным переменам. Древние говорили, что *наши предки*, мы говорим потомки; мы, в отличие от них, не любим нашу *родину*, то есть страну и законы наших отцов, скорее мы любим законы и страну наших детей; очарование, к которому мы наиболее чувствительны, - это очарование будущего, а не очарование прошлого”. Жубер, перев. М. Арнольд.

С. 92. См. Дж. Э. Харрисон о вазах Анодоса в ее "*Пролегоменах*", стр. 276 f.

Ирод. VIII. 109. Ирод. VIII. 65.

П. 96. Ирод. IX. 27. *Приложения* 314 f. Но посмотрите всю речь Айтры, да и всю пьесу целиком, которая полна миссии Афин как защитников эллинизма. Ср. также Eur. *Геракл.* Г. Мюррей, Введение в пер. евр. *Ипполит.* и др., о “Значении вакханок” (1902).

Р.
97. Thuc. I. 70, 9. Ирод. VII. 139. Dem. *de Cor.* 199 f.

Р.
98. Arist. *Pol.* 1317² 40, соглашаясь с Платоном *Соответственно* 562В.

Р.
99. Платон *Соответственно* 563с. Ирод. III. 80.

Ирод. Ст. 78. Ср. Гиппократ. *de aer. aq. loc.* 23, 24. Оба согласны с тем, что высокий дух может быть вызван подходящими *номами* и что дух человека “порабощен” автократией. Это более либеральная доктрина, чем та, что обсуждалась у Аристотеля, о том, что варвары - рабы “по природе”.

С.
100. Дополняет 403 ф. ст. Медея 536 ф. ст.

Связь Свободы и Закона проявляется как положительно, так и отрицательно (например, в нарушении того и другого тираном) у трагических поэтов и т.д. Так, в “*Просителях*” Эсхила речь идет о законе о браке, в “*Антигоне*” Софокла - о законе о погребении и так далее.

Другой “романтический” герой - Кадм.

С.
104. Hom. *Il.* VI. 447 f.

СОФРОСИНА

Р. 110. Платон *Соответственно* 329В. *ib.* 439Е.

Р. 111. Платон *Соответственно* 615с. Xen. *Hellen.* VI. 4, 37.

Р. 112. Plut. *Pelop.* 29. Ирод. III. 50; Ст. 92.

П. 120. Ирод. VIII. 26.

С. 121. *Чистота*. XXIV. 137-8.

БОГИ И ТИТАНЫ

Р.
122. Od. III. 48.

Р.
123 f. Я могу позволить себе сослаться, за более подробными доказательствами, на мою статью *Религиозная подоплека “Победы Прометей”* в Гарвардском учебном заведении. Филол. вып. XXXI, 1920. Ср. книгу профессора Г. Мюррея “*Антропология и классика*”, под ред. Р. Р. Маретта.

С.
124. Теог. 126 ф. Теог. 147 ф. “трудно назвать”, οὐκ ὀνομαστοί. Я думаю, смысл может заключаться в том, что упоминать их имена было опасно — особенно если вы поняли их неправильно. Cf. Aesch. Ag. 170. Римляне защитились от этой опасности с помощью *indigitamenta*.

С. 126. *Theog.* 453 ф.

П. 128. *Закон.* 617 ф. *Закон.* 503 ф.

Р. 129. Солмсен, *индог. Форш.* 1912, XXX, 35 п. 1. *Книга.* 886 ф. *Книга.* 929^h ф.

Р. 130. Геракл. о. 42 (Дильс). Ксенофан. *отец* 11.

Пинд. *Ol.* I. 53 ф.

Р. 136. Об “анархической жизни” см. *Законы* Платона 693-699. Демокрит (139) говорит: “Закон направлен на улучшение человеческой жизни и способен на это, когда люди сами расположены принять его; ибо закон открывает каждому человеку, который ему подчиняется, его особую способность к совершенству”.

Зевс, согласно Платону *Крит. подфин.* является конституционным правителем.

С. 137. Ирод. I. 34 ф.

КЛАССИКА И РОМАНТИКА

Я

С. 147. Плут. *Алекс.* I.

Р. 150. *Ил.* II. 459 ф. *Ил.* IV. 452 ф. *Ил.* XIX. 375 ф.
Од. XIX. 431 ф. *Од.* XIX. 518 ф.

Р. 151. *Ил.* VI. 418 ф. *Ил.* XIV. 16 ф. *Ил.* XXIV. 614 ф.

Р. 152. *Ил.* XIV. 347 ф. *Од.* XI. 238 ф.

Р. 153. Пинд. *Ol.* I. 74 ф. *Ol.* VI. 53.

Р. 155. *Il.* XXIII. 597 ф.

Р. 161 ф. Смотрите мои *исследования в "Одиссее"*, Оксфорд, 1914.

Р. 163. *Il.* III. 243 ф. *Il.* XVI. 453 ф. *Od.* XIX. 36 ф.

Р. 164. *Od.* XX. 351 ф. *ad Cererem* 5 ф. *ad Dion.* 24 ф.

И

С. 168. Так. III. 38. ζητοῦντές τε ἄλλο τι ὥς εἰ πεῖν ἢ ἐν οἷς ζῶμεν.

Об Элпис см. Ф. М. Корнфорда в *"Мифоисторическом Фукидиде"*, гл. IX, XII, XIII.

Р. *Od.* XI. 235 ф. Платон *Соответственно* 573В.

172.

P. См. Проф. Бернет, *Греческая философия* (1914), часть I, стр. 146 f.

175.

P. Ил. XVIII. 205 f.

182.

P. Ил. XII. 378 f.

183.

P. Дж. М. Синдж сказал: “Можно почти сказать, что прежде чем стих снова станет
184. человеческим, он должен научиться быть жестоким”. Но это просто показывает, насколько сильно мы страдаем от реакции против сентиментального романтизма.

///

P. 189. Ил. XIII. 444. Ил. XIII. 616 f. Ил. XIV. 493 f. Ил. XVI. 345 f. Ил. XX. 416 f.

P. 190. Ил. XVI. 751 f.

P. 191. Arist. *Huk. Eth.* III. 6, 6. Платон *Апол.*
объявление оконч.

Od. XI. 488 f. *Od.* XI. 72 f. Обратите внимание на эффект καί перед ζωός. Это “простой пафос”, если хотите, едва ли достаточно застенчивый, чтобы его можно было назвать “задумчивым”. В “Аду.

C. 192. Фразиклея. Kaibel, *Epigr. Sepulchr.* Чердак. 6.

C. 193. Эретрийская эпиграмма сохранилась в Палатинской антологии.

P. 195. Ag. 1391 г.

P. 196. Ant. 571 г.